
Н. ТРУЩЕНКО
ЭХО
СУРОВОГО
ЭКЗАМЕНА

Н. ТРУЩЕНКО

ЭХО СУРОВОГО ЭКЗАМЕНА



Н. ТРУЩЕНКО

ЭХО СУРОВОГО ЭКЗАМЕНА

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977

Трущенко Н. В.

Т80 Эхо сурового экзамена. М., «Молодая гвардия», 1977.

144 с. с илл.

О фронтовых буднях молодого политработника, о жестоких схватках с немецко-фашистскими захватчиками рассказывается в книге Н. Трущенко «Эхо сурового экзамена», адресованной молодому читателю.

9(С)27

Т $\frac{70302-060}{078(02)-77}$ БЗ—61—013—76

Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь.

В. И. Ленин

Их нельзя было не узнать. Они тянулись по склону холма и упирались в поле. Тогда, в тысяча девятьсот сорок втором, окопы проходили и через эту пашню: весь Ак-Монайский перешеек от Азовского моря до Черного был изрыт ими.

Черное море шумело так же, как и тогда, тридцать пять лет назад, и южный ветер, как и тогда, нес низкие рваные облака, морскую свежесть, пронизывающую до костей, и свои, особые запахи зимнего моря.

Я пошел через поле к окопам навстречу ветру. Через несколько шагов ноги стали пудовыми. Раскисшая земля прилипала к подошвам, образовывая такие высокие платформы, до которых еще не додумалась мода.

В тот февральский день, когда Крымский фронт перешел в наступление, пехотинцы проклинали южный ветер, принесший оттепель: им пришлось бежать по этой раскисшей земле.

Мои лакированные штиблеты слетают с ног. Я крепче завязываю шнурки и иду дальше. Шофер, который привез меня сюда, что-то кричит, но я ничего не слышу. То ли заглушает его слова ветер, то ли шум воспоминаний. Передо мной уже не просто вспаханное поле, а наша позиция. Впереди наша высота. Наши окопы. И ветер рвет уже не полы моего пальто, а — шинели.

Я слышал эхо войны. Запах оттаявшей земли возвратил мне то время с такими подробностями, которые казались безвозвратно забытыми...

Земля! Крымская земля! За два месяца я перерыл ее столько, сколько не пришлось перерыть за всю свою жизнь. Каждую ночь мы рыли все новые и новые окопы: отрыв ячейку, соединяли ее ходом сообщения

с соседней, потом понизу, у самого дна копали щель — укрытие от огня артиллерии и самолетов.

Знаете, как пахнет рыжая, только что оттаявшая крымская земля?! Особенно ощущает это пехотинец, упавший на нее после короткой перебежки, вжавшийся в нее всем лицом и телом, чтобы перевести дух. И эта земля дает ему силы вновь резко подняться и побежать вперед...

На высоте было сухо. Я стоял в окопе, отрытом нами в ночь на 27 февраля 1942 года. Из этого окопа утром мы с криком «ура!» пошли в атаку. В свое время это был окоп пулеметного профиля, имевший хороший сектор обстрела. Я смотрел на голую местность: Керченский полуостров здесь совсем не тот Крым, который обычно изображают на цветных фотографиях, и снова вспомнил, как тяжело было здесь наступать, как земля дрожала от немецких мин и снарядов, вспомнил пехотинцев, шедших в атаку, падавших и поднимавшихся, падавших и больше уже не встававших никогда...

На крымской земле началась моя фронтовая жизнь; присвоили воинское звание, приняли в партию, получил первое ранение и контузию.

На крымской земле я постигал трудное искусство убеждать. На всю жизнь я запомнил, как после первой моей неудавшейся беседы с бойцами старший политрук Сагинадзе дружески указывал на недостатки.

Идеологической работе в армии придавалось большое значение, особенно устной пропаганде. Живое слово пропагандиста призвано было укреплять боевой дух воинов, укреплять их духовные силы. В этом случае оно выступало в войне как своеобразное оружие, способное оказывать существенное влияние на ее исход. И Сагинадзе, другие политработники и командиры учили меня владеть этим оружием, давали мне первые уроки пропагандистского мастерства.

Силу нашего идеологического оружия признавали и наши враги. Главное управление войск СС «для узкого круга лиц» выпустило брошюру «Политическое воспитание Красной Армии», в которой содержалось следующее признание: «Красная Армия, в противоположность армиям всех небольшевистских стран, ни в коей мере не является инструментом аполитичных вооруженных сил. Ее своеобразие и опасность объяс-

няются тем, что она внутренне насквозь политизирована и имеет одну определенную целеустремленность. Работа политического аппарата, его значение равносильно или даже превосходит значение военно-технического аппарата в армии».

Давно замечена прямая зависимость побед и поражений от духовного состояния войск. Политработники помогали советским воинам с честью выдерживать все жестокие военные испытания. Они всегда находились на самых трудных и опасных участках боя. Они умели поддерживать у бойцов бодрость духа и веру в победу не только горячим большевистским словом, но и личным примером, своей отвагой и храбростью. Многие из них отдали свою жизнь за Родину.

Крымская земля до сих пор хранит память войны. Я взял горсть земли с бруствера и почувствовал в ней тяжесть осколков. Таким вот, величиной с лесной орех, был убит молодой боец комсомолец Аленов в тот момент, когда дал мне прикурить. Он только что прибыл с комсомольским пополнением в наш полк. Он хотел отомстить за отца, погибшего под Москвой, но так и не сделал по врагу ни одного выстрела.

Вновь увиденные места, где когда-то ты испытал сильные чувства, всегда возбуждают память. Здесь, на Ак-Монайских позициях, вспомнил тех, которые «не вернулись из боя», с которыми я пил из одной фляжки, мерз в боевом охранении. Отсюда я увозил реликвии войны — горсть земли, на которую пролили кровь советские воины, осколки снарядов, гильзу патрона.

Трудным был суровый экзамен войны для моего поколения... Взгляните на строгие колонки цифр из переписи населения в 1939 году. Подсчитайте численность родившихся хотя бы в 1920—1925 годах. Сопоставьте полученные данные с итогами переписи 1959 года. Поразмыслите о судьбе этих возрастов... За сухой, молчаливой статистикой вы услышите скорбную и священную мелодию Реквиема. Для меня это Реквием по реальным, близким людям. Я их соучастник в борьбе. Они и до сего дня могли бы быть с нами...

На бывших Ак-Монайских позициях я ощутил острое чувство долга, обязанности поведать нынешней молодежи о судьбе безвестных героев моего поколения, рассказать об окопных буднях, о том, как вчерашние школьники стали защитниками Родины. Как из маль-

чиков быстро становились мужами, ускоренно форсировали свой Рубикон. Как не огрубели они в смертельных боях и не только сохранили лучшие человеческие черты, но и обрели новые высокие нравственные качества.

Так родилось «Эхо сурового экзамена». Это не совсем то, что принято называть мемуарами, воспоминаниями в чистом виде, хотя мои записки и родились из фронтовых блокнотов, писем военных лет и из того, что отобрала память сердца. В них я пытался осмыслить не только пережитое и виденное мной, но и взглянуть глазами современника на многие общеизвестные факты, поразмышлять об истоках героизма, патриотизма, мужества наших воинов. В них нет широких обобщений, в них говорится о событиях, локального значения. Зона действий героев ограничена ротой или батареей, зона боя фронтовым сектором в километр. В книге — рассказ рядового участника событий, прошедшего боевой путь от Керчи до Берлина и завершившего этот фронтовой марш в 21 год.

АК-МОНАЙСКИЕ ПОЗИЦИИ



В КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ

В трюме пахло чем-то кислым, и этот запах не мог перебить ни морской ветер, врывавшийся в открытый люк, ни дым нашей махры.

Пошли вторые сутки, как нас, курсантов Военно-политического училища Московского военного округа, погрузили на транспортное судно, вышедшее в составе каравана из Новороссийской гавани. Каждому из нас выдали винтовку и два комплекта патронов в брезентовом подсумке.

Я лежу на досках и слушаю, как тяжелые волны бьются в борта. Во рту у меня неприятная горечь. Она всякий раз усиливается, когда нос судна в свободном падении проваливается в пучину. Чувствую, что Симка Шкляй тоже не спит.

— Симка, — говорю я, — пойдем на палубу.

Он встает и молча пробирается к трапу, над которым под стеклянным колпаком тускло горит лампочка.

Крепко вцепившись в холодные мокрые поручни борта, мы смотрим на разбушевавшуюся стихию. У Симки, как и у меня, это первое морское путешествие. «Семь баллов», — весело заметил нам проходивший мимо моряк.

Иногда нас всех обдает мелкими брызгами, и Симка, каждый раз при этом облизывая соленые губы, пытается изобразить улыбку: я понимаю, что ему так же плохо, как и мне.

Черный дым из пароходной трубы растворялся в темных тучах, которые зловеще сгущались на горизонте. Позади, за кормой, за этой темной пеленой, осталась наша мирная жизнь, училище, в котором мы не доучились, где нам не успели даже присвоить воинское звание.

В то последнее утро в училище подняли нашу роту по тревоге «в ружье!». Начальник училища старший батальонный комиссар Маркин был краток в слове перед строем: «Фронт нуждается в пополнении. Вашей курсантской роте предстоит выполнить боевое задание. Кто не готов это сделать — шаг вперед!»

Мы остались стоять сомкнутым строем.

— На сборы два часа. Вопросы есть? — спросил Маркин.

— Просьба есть! — крикнул тогда Симка. — Холодно на улице, варежки в порядочек привести бы!

Маркин вскинул брови и сказал, вдруг улыбнувшись: «Поедете туда, где жарко. Варежки не понадобятся!» Мы дружно рассмеялись тогда и в теплушке, вспоминая его слова, задумывались: а куда, в самом деле, едем? Поезд медленно тащился на юг, приближаясь к местам боев. Мы отдыхали от тяжелого распорядка училища, в котором на краткосрочных курсах готовили из нас кадры младшего и среднего звена политработников Красной Армии. Отоспавшиеся и разомлевшие у раскаленной докрасна чугунной печурки, настроены мы были не по обстановке благодушно. Даже у Симки настроение стало приподнятым. Он будто бы забыл родную Мгу, оккупированную фашистами. Мы знали об этом городе из его скупых рассказов, знали, что там остались его родители. К фашистам у Симки был личный счет. «Мне бы только до фронта добраться, уж я покажу им, гадам», — часто говорил он, и лицо его при этом мрачнело.

Все ближе и ближе фронт. Во время стоянок мы выскакивали на перрон, бросали в почтовые ящики наспех заполненные открытки. «Еду на фронт», — писал и я маме в Горький. «Миновали опаленный Ростов». «Позади — Краснодар...»

На фронт... Мы ехали на него, готовые выполнить любое задание. Любое! В этом никто из нас не сомневался, и под мерный стук колес мы самозабвенно пели: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой».

Потом Симка пел лирические песни довоенных лет, пронизанные патриотической темой. Симка — музыкальный парень. У него слабенький домашний тенорок, но пел он искренне и задушевно.

Мы подтягивали Симке мелодичный напев песни «Спят курганы темные» из кинофильма «Большая жизнь». Но слова там уже были военные:

Многие из девушек никогда не думают,
Что когда за Родину вспыхнет жаркий бой,
То за этих девушек в первом же сражении
Кровь прольет горячую парень молодой...

От этих простеньких, сентиментальных слов было немножно жалко себя. Но то, что кровь придется пролить за девушек, действовало успокаивающе. Каждый из нас увозил на фронт образ любимой, хотя не каждый успел объяснить свои чувства ей...

В теплушке под стук колес хорошо и уютно было петь, а здесь шторм отбил всю охоту до песен. Скорее бы все это кончилось, чтобы ощутить ногами не шаткую палубу, а земную твердь. Сколько можно плыть? И куда? До сих пор нам об этом не сказали. Понятно: «Особое задание».

Когда мимо опять проходил знакомый нам моряк из команды, я спросил:

— Куда плывем-то, не знаешь?

— В Турцию! — бросил он, прищурив веселые глаза.

Мы знали, что зарубежная пресса в странах гитлеровских сателлитов нагнетала вокруг «турецкого вопроса» антисоветскую истерию, догадывались, что неспроста это, знали, что фашистские дипломаты натравливали Турцию на Советский Союз.

— Слышь, Николай, — оживился Симка, — понятно теперь, почему Маркин про варежки так сказал — не нужны.

Мы спустились в трюм сообщить эту новость Толе Гладкову и Семену Салову, с которыми сдружились в училище. Объединяло нас то, что пришли мы в армию добровольцами, были комсомольцами-одногодками и в трудных условиях эвакуации училища даже вместе спали поперек двух плотно сдвинутых — одна к другой — солдатских коек. Мы не имели друг от друга секретов и делились всегда самым сокровенным.

— В Турцию так в Турцию! — выслушав нас, сказал Толя Гладков.

— Попасть бы нам в одну часть, — вздохнул Семен Салов.

Мы лежали в трюме, завернувшись в шинели, и строили предположения о будущей боевой жизни. Мы уже не замечали проклятой качки и не слышали ударов волн в борта.

Вечером в помещении судовой команды мы собрались на партийно-комсомольское собрание. Как только вошел флотский политработник, сразу сделалось тихо. Его загорелое широкое лицо было сосредоточенным, но спокойным. Он выждал еще какое-то мгновение, окинув

нас пронзительным жестким взглядом, и как-то очень просто и притом тихо начал:

— Товарищи. Теперь вы бойцы морского десанта. Высаживаемся в Камыш-Буруне, близ Керчи...

Я слушал, преисполненный гордости: вот ведь как счастливо складывается моя боевая судьба. Первая операция — и сразу в десанте! В самом слове «десант» уже чудилось что-то романтическое.

Крым — это плацдарм для прыжка фашистов на Кавказ. Это понимал каждый из нас. И пока Крым находится в руках противника, Кавказ не может считаться в безопасности.

— Боевой приказ Верховного Главнокомандования Красной Армии — взять Крым, — говорил политработник. В его охрипшем голосе уже слышались нотки металла. — В суровый и грозный час для нашей Отчизны мы идем на смертный бой с заклятым врагом. Действуйте мужественно, умело, с достоинством и честью, как подобает патриотам любимой Родины!..

Чем больше моряк говорил, тем больше воодушевлялся. Взгляд его пронзительных ястребиных глаз касался каждого, словно спрашивая: «А ты сможешь выдержать?»

— Родина, отцы и матери ждут от нас победы! Бейте фашистских псов смело и отважно, бейте без передышки, не давая им отдыха ни днем ни ночью! Смерть бандитам!

Мы крепко сжали в руках винтовки. Это была клятва перед боем, перед первым нашим боем, не учебным — настоящим.

Ночь предстояла бессонная: час-два еще можно поспать, но какие нужно иметь для этого железные нервы, навряд ли кто из нас заснул тогда. Каждый лежал со своими мыслями, и затхлый полумрак трюма не мешал разговору с самим собой.

Помню, как мне хотелось в те минуты написать домой маме и в школу своим одноклассникам. Сидят сейчас, поди, где-то у печки, зубрят немецкий. А ты через несколько часов с фашистами винтовочкой беседовать будешь.

Скоро Новый год. В школе, наверное, уже нарядили елку, высокую, пушистую, и во всех классах слышен запах хвои. Больше всего мне хотелось, чтобы о том, что

я стал десантником, узнала Галя. С ней мы вместе росли.

Вспомнилось, как мы расстались за несколько часов до начала войны. Она прибежала встречать меня на саратовскую пристань, куда прибыл туристский пароход, возвращавшийся в Горький.

Стоянка была долгой, но мы, боясь, что не хватит времени рассказать все, говорили, перебивая друг друга. Мы завороженно смотрели, как огненный диск солнца катился к горизонту, как вдруг, отразившись от зеркальной глади реки, обагрил и запалил Волгу.

Был вечер, за которым не следовало ночи. О таких в народе говорят: «Заря с зарею сходится».

— Я скоро буду врачом, — сказала она. — А ты?

Она уже училась в Саратовском медицинском институте, а я только окончил девятый класс, и планы на этот счет были довольно расплывчатыми.

— Может быть, пойду в театральный... Может, в юридический... Не исключено, что и в медицинский, — говорил я неопределенно.

Пароход трижды пробасил на всю Волгу: оказалось, что времени сказать самое главное, что я хотел сказать ей, так и не хватило.

Матросы уже сняли трап и отдавали швартовы, когда я прыгнул на палубу.

— Который час? — крикнула она.

— Четверть первого...

Время показывало минуты нового дня, страшного дня, который вошел в историю человечества.

Через полсуток мы, туристы плавучего дома отдыха, сидели в салоне у репродуктора и слушали, как куранты отбивали позывные Советского Союза — мелодию «Широка страна моя родная». С нею начиналось утро, ею завершался день Отчизны. Ее передавали и перед важными правительственными сообщениями.

«Граждане и гражданки Советского Союза!»

Тревожным повеяло от этих слов. Так к нам еще не обращались. От предчувствия близкой беды зашлось дыхание. А из репродуктора уже летели суровые слова заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и наркома иностранных дел о вероломном нападении гитлеровской Германии.

...Война! Пока мы, туристы, безмятежно спали, она шла уже восемь часов.

Тут же, в салоне парохода, состоялось партийно-комсомольское собрание экипажа и туристов. Ораторы говорили горячо и взволнованно. Желающих выступить было много, но прения вскоре прекратили и приняли краткое решение: «Всем, кому дорога Родина, вступить добровольцами в ряды Красной Армии». Лаконичную суровость этих слов еще плохо воспринимало сознание: то казалось, что это решение относится только к взрослым, то, наоборот, к тебе лично.

Сосед по каюте, слесарь сормовского завода, спросил меня:

— Ты-то как, Николай, решил?

— Я-то? — вопрос меня застиг врасплох. — Бить фашистов идти надо! Разделаемся с ними, дядя Ваня, запросто, и снова учиться пойду, школу заканчивать.

Мимо проплывали мирные волжские берега. Думалось же о том, что где-то полыхало пламя войны и гибли люди. Два чувства боролись во мне: боялся опоздать на фронт, и очень хотелось быстрее услышать сообщение о победе над фашистами. Казалось, что это должно произойти сегодня же, ну самое позднее — к вечеру. Но вместо сводки с фронтов из черной картонной тарелки диффузора-репродуктора неслись бравурные звуки маршей.

— Ну-ну, парень... Я тоже пойду. У меня, брат, два «георгия» за первую мировую да боевое Красное Знамя за гражданскую...

Я помолчал, а потом поинтересовался:

— Дядя Ваня, ты партийный?

— Коммунист.

В тот день, сидя с дядей Ваней в каюте, я вдруг задумался, что же сам-то знаю о большевиках?

...Как-то в школе учительница по истории на очередной политбеседе, раскрыв том сочинений Ленина, прочитала его слова о соратниках по созданию партии: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки». Так писал Ильич о революционерах, объединившихся для борьбы за социальное переустройство общества. Потом учительница рассказывала о его соратниках. Мы слушали и удивлялись: оказывается, улицы Сестер Невзоровых, Ольги Генкиной, Евлампия Дунаева, Мартына Ля-

дова, площадь Нариманова, по которым мы ежедневно ходили в школу, названы именами тех, кто работал вместе с Лениным. Потом были рассказы о подпольщиках, политических ссыльных, о штурме Зимнего и боях с белогвардейцами. Но собственных жизненных наблюдений о коммунистах у нас не хватало. Даже когда мы встречались с ними непосредственно, то ловили себя на том, что больше знаем о них из литературы и кино, чем из жизни. Помнится, пришел к нам в класс Петр Андреевич Заломов со своей матерью Анной Кирилловной. Затаив дыхание мы слушали их рассказ о первых маевках, знаменитой демонстрации сормовских рабочих в 1902 году, о царском суде над Петром Андреевичем и его речи, напечатанной в «Искре». (Фотооттиск газеты он принес с собой и пустил его по рядам.) Мы впервые встречались с подлинными революционерами, прообразами литературных героев, слышали их голос, видели добрые улыбки. До сих пор не забыт мягкий, чуть окающий говорок Анны Кирилловны, рассказывавшей, как на дне ведерка с квашеной капустой, минуя филеров, проносила она листовки на завод. Слушали внимательно, но литературные образы Ниловны и Павла Власовых из романа Горького «Мать» заслоняли беседовавших с нами подлинных героев революции. Может быть, происходило это потому, что сила горьковского слова преобладала над спокойным рассказом скромных пожилых людей?

Дядя Ваня был первым коммунистом в моей жизни, с которым я говорил в неофициальной обстановке.

Сколько сейчас членов партии? Кажется, на XVIII съезде назвали цифру в полтора миллиона человек. Это много, мало? Хотел спросить сормовского коммуниста, но он сидел задумавшись, и мне мешать ему не хотелось.

— На Хасане, Халхин-Голе да на Карельском перешейке мне делать, пожалуй, было нечего. А ноне пойду. Непременно пойду... — вдруг сказал дядя Ваня, положив свою крепкую кисть мне на плечо.

Мы с ним сошли на какой-то пристани и сели на поезд, чтобы быстрее быть в Горьком.

Дома меня ожидала новость. Отец, уже немолодой человек и, как казалось мне, не очень активный общественник, подал заявление с просьбой принять его в Коммунистическую партию и добровольцем направить

на фронт. И я тут же побежал в райком комсомола, чтобы не опоздать на войну.

Дом райкома располагался на одной из главных площадей города, напротив памятника борцам революции 1905 года. Война все изменила вокруг. Прямо на площади дымились трубы походных армейских кухонь. У добротно сбитых яслей лошади жевали в торбах овес. Новобранцы в мятом, неподогнанном обмундировании непрерывно строились и уходили.

Парни и девчата, минуя заслоны, врывались в кабинет секретаря райкома. Саши Смирнова, из рук которого два года назад я получил комсомольский билет, уже не было — добровольцем ушел на фронт. Вместо него нас встретила девушка с воспаленными от недосыпания глазами.

— Ребята! — почти истошным голосом кричала Наташа Лосева таким школьникам, как я. — Ну что вы все: «На фронт да на фронт!» Из школы добровольцев не берем. Идите на завод, коль учиться не желаете. Хотите — в колхоз направление выпишу: травы в Заволжье перестаивают, сено в валках преет...

Но нам был нужен только фронт.

Домой возвращались хмурые. Мимо нас маршировали армейские колонны, мы останавливались и долго смотрели им вслед. Из многих распахнутых окон слышались песни: кого-то провожали на фронт. У ворот одного дома раскрасневшиеся мужчины прощались громко, с надрывом. Женщины, отворачиваясь, плакали.

Вести с фронта были нерадостные: фашисты наступали. «Может, не хватает людей? Тогда почему нас не берут?» — думали мы и снова бежали в райком, размахивая «Комсомольской правдой» со статьей первого секретаря ЦК ВЛКСМ Николая Михайлова «Комсомол — в первые ряды бойцов за Родину, за честь и свободу!».

— Наташа, — убеждали мы Лосеву, — нестыковочка у тебя с Михайловым. Почему на фронт не берешь?

Матери огорчались, узнавая о наших хождениях в военкомат, райком и по медицинским комиссиям. Но, не веря в реальность ухода сыновей в армию, не делали даже попыток поговорить с нами. А мы совсем не думали о материнских сердцах. Мы были одержимы одной мыслью: надо защищать Родину. Мы боялись, что вот наберут солдат сколько надо, прекратят мобилиза-

цию и сиди опять за школьной партой. А учиться в такое время мы считали позором.

Атаки на райком не прошли бесплодно. Мне и Левке Марамзину, рослому, плечистому однокласснику, выдали дорогое нам предписание «явиться 27 июня с. г. в военкомат, с кружкой, ложкой и суточным пайком».

По случайному совпадению отец и я уходили в один день, отбывая с одного вокзала. Только он на час раньше и сразу на фронт. Я — на краткосрочные курсы в Военно-политическое училище Московского военного округа.

Когда мы атаковывали райком комсомола с надеждой на то, что удастся втиснуть заявление в руки отбивавшегося от нас секретаря, то было не до размышлений о войне: главное — приняли бы. Календарь только-только отсчитывал ее начало. Эшелоны с первыми ранеными были в пути. А смысл слова «похоронная» оставался пока для многих чистой абстракцией.

В те дни мы с необыкновенной легкостью отмахивались от дум о возможной своей гибели. Она казалась нам противоестественной. Жизнь только начиналась и представлялась в виде астрономической величины. Мы проникновенно пели «Комсомольскую прощальную», особенно куплет, в котором любимая желала бойцу «если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». Созвучные нашему настроению, эти слова все же были адресованы не нам, а легендарному парню в буденовке, олицетворявшему «боевой восемнадцатый год».

От юного героя гражданской войны нас отделяли всего два десятка лет. Сейчас видно, как невелик этот срок. Тогда, в свои семнадцать, мы не могли постичь этого. А история уже предопределила и нам повторить в мальчишеские годы необыкновенные биографии отцов, участвовать в великом подвиге своего народа.

Сами мы до войны не прокладывали в мертвой пустыне стальные пути Туркестано-Сибирской железной дороги. Не перекрывали плотиной раздольный порожистый Днепр. Не было нас и среди тех, кто сошел летом 1932 года по сходням «Колумба» и «Коминтерна» на таежный берег Амура, близ охотничьего села Пермское, чтоб построить здесь первый город юности. Мы не водружали алый стяг Родины на Северном полюсе и не сражались под Гвадалахарой.

Нам, тогдашним школьникам, казалось, что все героическое совершило старшее поколение. Поэтому с нескрываемой завистью вчитывались в биографии В. П. Чкалова и папанинца Евгения Федорова. По газетным полосам «вели всесоюзный поиск» Полины Осипенко, Валентины Гризодубовой и Марины Расковой — героического экипажа самолета «Родина», совершившего вынужденную посадку в глухой тайге. Мы толпами окружали детей-басков, приехавших из охваченной пламенем Испании, и вместе с ними скандировали: «Но па-са-ран, но па-са-ран!»

1941 год встречали тревожно — свежи еще были воспоминания о войне с белофиннами. 31 декабря М. И. Калинин вручал ее героям ордена и медали. Гул войны сотрясал Европу. В последние дни уходящего года крупные соединения германской авиации произвели налет на Лондон. Пожары горящей столицы Великобритании были видны с французского берега.

Советское государство делало все возможное, чтобы быть готовым к разгрому любого агрессора. И пусть не все успевалось к сроку, но теперь мы хорошо знаем, что благодаря этим усилиям первая в мире страна социализма создала действительно мощную оборонную промышленность.

Каждый день страна узнавала о подвигах советских людей. В горячих боях закалялась и наша молодежь. За первые десять месяцев войны более ста комсомольцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Героем Отечественной войны, отмечал Михаил Иванович Калинин, стал в основном молодой человек, подлинная гроза фашистов.

29 ноября 1941 года после страшных пыток фашисты казнили московскую комсомолку Зою Космодемьянскую. После перенесенных пыток Зоя, стоя на эшафоте, крикнула жителям Петрищева жизнеутверждающие слова: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!»

Иной юноша, читая о героизме молодежи в Отечественной войне, может подумать, что, приди и его час, он запросто прикроет амбразуру дзота, как коммунист Александр Панкратов и его тезка — комсомолец Матросов. В Великой Отечественной войне участвовали миллионы отважных защитников Родины, но многим из них поначалу, прежде чем стать храбрыми и мужественны-

ми, предстояло воспитать эти качества в суровой военной обстановке.

Война была великой школой мужества. В ней закалялся характер моих современников. Но, конечно, происходило это отнюдь не стихийно. Бойцовские качества, необходимые солдату, воспитывались командирами, политработниками, всем строем и укладом фронтовой жизни. И высшим уроком, экзаменом являлся бой. В нем новобранец держал испытание огнем, пройдя через которое до этого просто человек становился воином.

В тот предновогодний день 1941 года нам предстояло стать воинами.

По трапу, громыхая прикладами, мы вываливались из трюма на палубу: в сгустившихся сумерках проглядывался крымский берег.

Вспомнилась Евпатория, где я был в 1934 году вместе с мамой. Уезжая в Горький, я бросил в теплое, ласковое Черное море монетку, чтобы еще раз вернуться. Сейчас примета сбывалась...

Воздух вдруг прорезали огненные трассы зенитных пулеметов, и мы увидели в быстро темнеющем небе черную тень «Мессершмитта-110». На соседнем корабле от прямого попадания бомбы возник пожар. Отблески огня играли в прибрежной ледяной кашице миллионами сверкающих граней.. Мы, задрав головы, беспомощно толпились на палубе, ожидая, когда наше судно приткнется к молу. Вдруг наше внимание привлек Салов. Он пытался втиснуть свое тело под корпус тяжелого танка, стоявшего на корме. Но это ему не удавалось, мешали какие-то ящики.

Трагикомичной показалась мне эта картина.

— Симка, посмотри на Салова, — прохрипел я, обернувшись к товарищу.

«Мессершмитт» прошел почти над нами, и я услышал за шумом моря и стрельбой пулеметов неприятный удручающий вой и увидел — или это только мне показалось, — как метрах в тридцати за бортом мелькнули две тени смертоносных бомб, поднявших фонтаны воды.

На посеревшем лице Симки застыла искаженная гримаса, а зубы выбивали чечетку.

— Да ты что, сам трусишь? — это спрашивал я.

Но до чего странным было все в тот миг на судне. Я слышал собственный голос, но он звучал отчужденно, будто где-то в стороне, как из репродуктора. Будто говорил не я, а мой двойник. Одновременно почувствовал, как ноги становятся ватными: ни двинуть, ни устоять.

Мне казалось, что трусят товарищи, а на деле получалось, что холодную волну страха переживал сам. Сознание стремилось проявить волю, а тело не подчинялось ей, стало чужим, и комок тошноты подкатывался к горлу.

Способность сохранять присутствие духа в критические минуты родилась не сразу. Тогда сбросить минутное оцепенение и собрать свою волю, мысли, чувства мне помог знакомый, чуть с хрипотцой голос:

— На берег! В атаку, вперед!

Широкая спина флотского политработника, два часа назад выступавшего перед нами, метнулась по сходням.

«Родина, отцы и матери ждут от нас победы!» — вспомнились мне его слова и блеск его испытующих пронзительных ястребиных глаз.

Моряки закричали «полундра!». Кто-то замешкался на сходнях, вцепившись руками в край трапа. Моряки сбросили паникера в воду. Стараясь не смотреть вниз, я проскочил узкие, раскачивающиеся сходни и спрыгнул на берег, где уже слышалось раскатистое «ура». Я бежал рядом с Гладковым и застенчиво подбадривал себя победным криком...

Это был первый наш бой за священную Родину — бой, о котором мы мечтали в училище, по дороге на фронт... В тот день мы получили боевое крещение.

В Керчи нам присвоили первое воинское звание и заместителями политруков рот разбросали по 44-й и 51-й армиям, находившимся на Керченском полуострове. Прощания были горячими и грустными: кто знает, свидимся ли когда.

С Гладковым и Саловым я встретился много лет спустя после войны. С Симкой Шкляем — через несколько недель. И очень неприятной была та встреча.

Керченско-Феодосийская десантная операция — крупнейшая десантная операция Великой Отечественной войны. Ее целью было овладеть Керченским полуостровом, отвлечь силы противника от осажденного Севасто-

поля и создать условия для последующего освобождения Крыма.

Эта десантная операция проходила в тяжелое для нашей страны время: противник имел превосходство в силах, средствах, господствовал в воздухе, но наши войска успешно осуществили прорыв сильной противодесантной обороны противника на разных участках побережья.

Десант, высаженный в восточной части полуострова (в районах — мыс Зюк, мыс Тархан, мыс Хрони, Камыш-Бурун, где действовала рота нашего Военно-политического училища), выполнял вспомогательную роль — отвлекал силы противника от направления главного удара по Феодосии...

Благодаря правильной оценке обстановки, умелой расстановке сил, внезапности и стремительности действий наши войска добились успеха.

Совинформбюро сообщило:

«29 и 30 декабря группа войск Закавказского фронта во взаимодействии с военно-морскими силами Черноморского флота высадила десант на Крымском полуострове и после упорных боев заняла город и крепость КЕРЧЬ и город ФЕОДОСИЯ».

Всего на Керченском полуострове и в Феодосии с 26 по 31 декабря 1941 года высадилось свыше 40 тысяч человек, 236 орудий и минометов, 43 танка.

Ко 2 января 1942 года части десанта, высаженного в Феодосии, вышли на рубеж балки Черная-Арма — Эли — Огуз-Тобе — Ак-Монай и преградили пути отхода остаткам немецко-фашистских войск с Керченского полуострова. На этом Керченско-Феодосийская операция фактически закончилась: войска приступили к перегруппировке.



ВТОРОЕ ОРУЖИЕ

Плохо, когда у тебя новое обмундирование, особенно если и сидит хорошо — будто приличный портной по твоей мерке сшил: трудно заставить себя упасть в нем на землю.

Мы шли в 346-й горнострелковый полк 63-й дивизии 44-й армии, куда меня распределили. Лужи на разъезженной дороге рябили. Ботинки в обмотках скользили по глине. Над скучной голой степью стояло солнце. Вдруг на горизонте показалось несколько бомбардировщиков.

— Ложись! — закричал сержант и тут же упал на землю.

Два новобранца, которые шли с нами, уже лежали, а я все высматривал место посуше: жаль было пачкать новую шинель.

— Ложись, замполит! — снова закричал сержант и еще добавил что-то неудобопроизносимое.

Чем больше нарастал гул, тем больше неприятная сырость подступала к груди. Я чувствовал, как в рукав шинели затекает холодная вода.

Один из «юнкерсов» спикировал и пронесся над нами. Из-под руки, метрах в десяти от себя, я увидел фонтан мелких брызг — пулеметную очередь с «юнкерса».

Еще несколько раз нам пришлось припадать к земле, прежде чем мы добрались до части...

Рота, в которую я прибыл, в эту ночь шла в боевое охранение. Командир роты капитан Никифоров отдал распоряжение, чтобы мне дали теплое белье. Переоделся я в балке на ветру.

Солнце село. Подмораживало. Мы долго двигались по узкой тропе, пересекавшей минное поле, старательно ступая по-волчьи: след в след. На месте (метрах в ста от переднего края), попрыгав в окопы, накрылись с головой плащ-палаткой, с жадностью закурили. От огонька папироски в окопе становилось уютно. Приставив карабин с взведенным затвором к стенке ямы, я предался воспоминаниям о мирном времени. Вспомнился отчий дом.

...В теплой квартире матовая электрическая лампочка

разливает мягкий свет. Я лежу на диване, а мать топит голландскую печь. Красный отблеск от горящих дров трепещет на голубом рисунке обоев. Собрав угли к краю пода, мама жарит на сковородке янтарные оладьи. В комнате немного чадно, и она открывает форточку. Ледяная струя воздуха врывается в комнату, и я чувствую ее всем телом: «Мам, закрой форточку, в ноги дует...» Она что-то говорит. Это видно по движению ее губ, но сверху доносится чужой властный и хриплый голос:

— Рус, сдавайся!

Сон мгновенно покинул меня. Кто-то стоявший на краю окопа сдернул плащ-палатку, легонько ударил носком сапога по каске.

Судорожным движением шарю рукой в том месте, где стоял карабин, и не нахожу его. «Пропал», — мелькнуло в сознании.

— Вот так, замполит, попадают в плен, — услышал я голос Никифорова. — Гибнут люди. Образуются бреши в линии фронта... Целые части гибнут!

Долго и безжалостно читал мне мораль капитан. Обходя окопы боевого охранения, он застал меня спящим и преподнес незабываемый урок бдительности и еще другого. Предельно ясно в первый день доказал мне, мечтавшему стать на войне героем, суровую необходимость быть сначала настоящим солдатом.

В последние дни декабря 1941 года наши войска, высадившись в Керчи и Феодосии, оказались на равнине. Этот степной пятачок полуострова, простирающегося на восток от Ак-Монайского перешейка, окружен Черным и Азовским морями и Керченским проливом. И на нем — три армии: 44, 47 и 51-я. Впереди на суше — враг. С флангов морские глубины, минированные противником.

В январе, зарывшись в землянки-норы и лишенные топлива, мы промерзали насквозь. В феврале, когда пошли моросящие, нудные дожди, увязали по уши в грязи: ни танки, ни люди не могли одолеть раскисшей керченской земли. Идущие к нам транспорты с боеприпасами, питанием и людским пополнением часто подрывались в море. В воздухе господствовал противник. Мы же, поднимаясь в наступление, получали приказ: стелить за

передней цепью атакующих белое полотнище — опознавательный знак для своих истребителей. Они изредка появлялись в небе на 10—15 минут: базировавшиеся на аэродромах кавказского побережья, из-за дальности расстояния не могли находиться над нами более продолжительное время.

Гитлеровские летчики охотились за каждой автомашиной, застигнутой на дороге; даже за одиночным бойцом, не успевшим быстро отыскать укрытие.

Границы расположения противника на полуострове четко обозначились сохранившимися на его стороне телеграфными столбами. Фашисты занимали горную и лесную часть Крыма. Мы стояли на степной полосе. Все, что было здесь деревянного, ушло на сооружение укрытий. Чтобы приготовить горячую пищу, приходилось собирать прошлогодний бурьян.

В таких вот условиях, может быть, медленно, но устойчиво формировалось наше убеждение в том, что война — неизбежный круглосуточный и изнурительный труд. Изнурительный не только физически. Больше даже морально.

Здесь, на Ак-Монайских позициях, происходило мое становление и как воина, и как политработника.

Замполит — это и должность и звание. Его воинские знаки отличия: четыре треугольника на петлице воротника и комиссарская звездочка на рукавах гимнастерки и шинели. Замполиты были в основном комсоргами рот и отсекрами (ответственными секретарями) комсомольских бюро батальонов и полков. Но при всем этом всегда оставались солдатами. Соединяя в себе бойца и политработника, они жили всем, что волновало красноармейцев, чутко откликались на их запросы.

Конечно, после краткосрочных курсов в училище, став заместителями политруков, нам было трудно работать с бойцами. В училище нам говорили: надо к сердцу каждого подобрать особый ключик. А как это сделать, если мне, например, в ту пору едва исполнилось восемнадцать лет, к тому же позади ни специальности, ни знаний крепких, ни привычки к работе.

Мы приглядывались к тому, как действовали в фронтовой обстановке старшие товарищи: комиссары и

командиры. Многое постигали сами. Пожалуй, очень быстро усвоили, как легко и просто оттолкнуть от себя людей, но зато трудно завоевать их доверие и уважение.

Быть всегда в первых рядах, изучать комсомольцев в бою — таково было наше фронтовое правило. И не только в бою. Знание бойцов, их дум, черт характера, привычек, склонностей во многом определяло успех политработы. Одного солдата подбадривала веселая шутка. Другого нужно успокоить участливым словом. Особенно если из дому приходили плохие вести. Но сделать это, оказывается, было непросто, потому что человек он гордый. За помощью к тебе он никогда не обратится: самолюбие не позволяет. Тут уж, замполит, сам мозгуй, как ее оказать ненавязчиво, с тактом. Поначалу мне и замполитам-одногодкам особенно трудно давалась работа с людьми взрослыми, пока не обрели мы фронтового житейского опыта.

Долг замполита — показывать личный пример мужества, учить бойцов сражаться с врагом. Замполиты в бою — всегда впереди бойцов. Ведь у них не было определенных командирских обязанностей. Они не командовали ротами, взводами — сами выбирали место в бою, самое ответственное.

Нашим местом работы с бойцами-комсомольцами были окоп, прифронтовые балки. Основным методом — индивидуальные беседы. И, конечно, напряженные комсомольские собрания. Чаще всего проводили их перед боем, в час, когда солдаты уже получили цинковые коробки с патронами, гранатами и диски к автоматам. В такой обстановке люди немногословны. На повестке дня: выполнение боевой задачи. Прения подобны перекличке мужественных людей, их коллективной присяге.

Одной из первых задач армейских комсомольских работников стала борьба за укрепление первичных организаций ВЛКСМ.

В каждой роте, эскадроне или на батарее (стояли ли они в обороне или наступали) велась обычная комсомольская работа: проводились собрания — солдат принимали в комсомол, иным давали рекомендацию для вступления в партию; шла учеба: политическая и боевая. И все это в окопах, в перерывах между боями.

В бою и на отдыхе, в наступлении и обороне мы

учились работать оперативно. В коротких передышках проводили с солдатами политбеседы, читали вслух газеты, а то и письма от родных, согретые теплом далекого дома.

Организовывали сбор трофейного оружия и учили солдат владеть им.

Ничего так не поднимало силы бойца, как вовремя пришедшая весть об успехе товарищей по роте или батальону, написанный о нем рассказ в боевом листке, который мы выпускали.

Много было забот у заместителей политрука: следить за своевременной доставкой на передовую писем, газет, крепкой махры. Все это на первый взгляд нехитрый, но по-своему сложный круг забот замполита.

Повсюду один работу не наладишь. Значит, надо создавать из комсомольского актива опорные группы. Работа эта не простая не только сама собою: времени изучать людей было мало — вчера пришло пополнение, а сегодня ты уже с ним в бою. Сегодня создал опорную группу в одном из подразделений, а назавтра после боя с болью в сердце несешь комиссару полка комсомольские билеты погибших.

Конечно, не все у нас, молодых политработников, сразу пошло гладко. Особенно трудно было проводить беседы. Подчас наши слова, начатые с традиционного: «Ну, как дела?», не проникали в душу солдата. Не могли мы сразу «подобрать ключик» к его сердцу. Сами чувствовали, что или «осечка» произошла, или «недолет».

Старшему политруку Сагинадзе не понравилась моя первая беседа с бойцами.

— Эх ты, агитатор, — сказал он, хлопая меня по плечу, когда мы вышли из землянки.

Я и сам хорошо понимал, что беседа не удалась.

Мне очень хотелось вести живой, настоящий разговор с бойцами, которые все были старше меня, не раз ходили в атаку, видели смерть.

Первые мои слова — неуклюжие, тяжеловесные — глухо прозвучали под низким сводом, и я сразу почувствовал себя учеником, плохо выучившим урок. (Я не предполагал, что мне придется выступать перед бойцами о гражданской войне.) Я ощущал, что краснею, и подумал, как хорошо, что в землянке темно. Говоря, я мучительно вспоминал рассказ комиссара полка о штурме

Перекопа под командованием Михаила Васильевича Фрунзе, но в моих словах не было логики. Когда, откинув полог, в землянку втиснулся Сагинадзе: «Говори, говори, замполит. Покурить пришел», — я вконец растерялся.

Я вытягивал из себя слова, и от понимания того, что такое не могло нравиться старшему политруку, все получалось еще хуже. В тот вечер Сагинадзе преподал мне первый урок пропагандистского мастерства.

— Такая агитационная деятельность, — говорил он, — не просто бесполезна. Она вредна. Она компрометирует большевистское слово.

Сагинадзе говорил неприятные для меня вещи спокойно и доброжелательно:

— Ты, замполит, учти, без подготовки к людям ходить нельзя. Твои слова должны воспитывать мужественных патриотов нашей Родины, которые завтра пойдут на захватчиков. Со святым гневом! Со святой местью! С твердой уверенностью в победе! Боеспособность ты должен в них повышать...

Руководствуясь указаниями Главного политуправления РККА, в частях в тот период стали уделять много внимания качеству бесед с бойцами, методике и практике пропагандистской работы.

Много ценных практических советов давал мне и капитан Никифоров. От него я впервые услышал истину, что пропагандист должен готовиться всю жизнь, что только настойчивая, повседневная работа может принести успех. Сам Никифоров умел говорить доходчиво, интересно.

После первого провала я стал готовиться к выступлениям серьезно, отдельные статьи из газет чуть ли не заучил наизусть.

Как-то в землянку, где я проводил беседу, снова «покурить» заглянул Сагинадзе. Это меня нисколько не смутило: тему я знал хорошо и был уверен, что теперь-то он меня похвалит, но неожиданно для меня Сагинадзе после беседы сказал:

— Плохой ты еще пропагандист. Живые, умные, страстные слова должны у тебя быть. Ты же все в память свою собрал, а через сердце свое не пропустил. Убеждением это должно твоим стать, тогда и других убеждать будешь.

Мне было обидно такое слышать: я так долго готовился, столько запомнил и так бойко говорил. Вначале показалось, что Сагинадзе несправедлив ко мне, но потом понял, что он прав.

— Ты должен воодушевлять людей на подвиги, — продолжал он, — а ты — скумбрия холодная, а не агитатор. Под влиянием страстного большевистского слова люди малодушные приобретают силу воли, робкие подавляют страх и храбро дерутся с врагом. А твои слова разве могут оказать такое влияние на бойцов? Сухие, казенные слова. Они как горох от стенки отскакивают от бойцов. Следов не оставляют. Слово — твое второе оружие, замполит. Твой долг — научиться владеть им.

За полтора месяца, проведенные на Ак-Монайских позициях, я прошел хорошую школу пропагандиста. Мне здесь привили любовь к этой работе на всю жизнь.

Когда была опубликована Нота Народного Комиссара Иностранных Дел о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченной ими советской территории, мы, вооружившись ее текстом, пошли по землянкам: нужно было рассказать о ее содержании каждому воину.

Этот документ, который Советское правительство доводило до сведения всего цивилизованного человечества, нельзя было читать без спазм в горле. Написанный лаконичным языком, он приводил в волнение каждого.

В этом документе говорилось об издевательствах над советскими людьми и массовых убийствах, о глумлении над замечательными памятниками русской культуры. Говорилось, что режим ограбления и кровавого террора по отношению к мирному населению захваченных сел и городов представляет собой не какие-то эксцессы отдельных недисциплинированных военных частей, отдельных германских офицеров и солдат, а определенную систему, заранее предусмотренную и поощряемую германским правительством и командованием.

Знакомя бойцов с этим документом, я рассказывал им то, что сам видел и слышал о зверствах фашистов в Керчи, читал даже стихи Ильи Сельвинского:

Лежат. Сидят. Сползают на бруствер.
У каждого жест. Удивительно свой!
Зима в мертвеце заморозила чувство,

С которым смерть принимал живой,
И трупы бредят, грозят, ненавидят...
Как митинг, шумит мертвая тишь.
В каком бы их ни свалило виде —
Глазами, оскалом, шеей, плечами
Они пререкаются с палачами,
Они восклицают: «Не победишь!»

Наши войска захватили в Феодосии документы штаба части 11-й германской армии и среди них так называемые «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими». Эту инструкцию гитлеровцы составили еще до нападения на нашу страну — 1 июня 1941 года.

«Не разговаривайте, а действуйте, — говорилось в ней. — Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный диалектик и унаследовал... склонность к философствованию...»

В этом документе глумливо утверждалось, что наш народ — аморфная масса, которая только и жаждет: «приходите и владейте нами».

Этот документ также давал нам ключ к пониманию сущности фашизма: в нем фашизм саморазоблачался.

Такие документы рождали у воинов жгучую ненависть к врагу, неукротимое стремление разгромить фашистских захватчиков.

Война с ее разрушительной силой обостряла наше внимание к культурным ценностям страны. С болью мы узнавали о варварском отношении фашистов к блистательному Петергофу, усадьбе Ясная Поляна, Домику-музею Чайковского в Клину, архитектурным сооружениям Киево-Печерской лавры и Великого Новгорода. Гневом встречали известие о том, что древний Псков гитлеровцы переиначили в Плескау, осквернили священные пушкинские места, сожгли домик Арины Родионовны.

Наш интерес к истории Родины особенно обострился, когда мы узнали, что гитлеровские генералы цинично внушают своим солдатам, что «исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения». Реальная угроза невозвратимой утраты их побуждала упорно сражаться за национальное достояние. По-новому для нас прозвучали знакомые исторические имена в призыве Верховного Главнокомандующего:

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный

образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»

Ненависть рождали в наших сердцах призывы гитлеровцев к уничтожению нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!

И мы, молодые политработники, часто рассказывали солдатам о том, какую великую культуру унаследовал наш народ от своих предков, о далеком и близком прошлом страны, за честь и свободу которой сражались.

На Ак-Монайских позициях мы разъясняли воинам положения В. И. Ленина о войне и армии, защите социалистического Отечества, политику Коммунистической партии, обстановку на фронтах; разоблачали фашизм, его преступные цели в войне, разбойничий характер немецко-фашистской армии; проводили беседы о дружбе народов нашей страны, о моральном облике советского воина, о воинской дисциплине, хитрости и смекалке, о единстве фронта и тыла.

Постепенно неуверенность в общении с людьми проходила. Устная агитация, индивидуальные беседы сблизили меня с бойцами роты, и гибель каждого из них я сильно переживал.

Однажды меня неожиданно вызвали в тыл дивизии. Чертыхаясь оттого, что идти пришлось под моросящим дождем, по раскисшей пашне, каждое мгновение рискуя напороться на свое же минное поле, я лишь к ночи добрался до политотдела дивизии.

Наутро в балке встретился с группой бывших курсантов училища. Здесь, за кухонным столом, накрытым зеленым сукном, заседал военный трибунал. Судили Симку Шкляя. Он стоял под конвоем, без ремня и знаков воинского отличия, отрешенно глядел в нашу сторону и, казалось, не видел нас. Кисть левой руки его была забинтована окровавленной тряпицей. А за несколько дней до этого произошло вот что.

Рота, в которой служил Симка, пошла в наступление, но через несколько минут атаки залегла на открытом месте. Противник встретил ее шквальным минометным огнем.

Через час рота, захватив господствующую над местностью высоту, теряла последние силы: противник пошел в контратаку. На помощь роте подослали автоматчиков и минометы. Подоспевшие минометчики, копошась в орудийном ровике, приметили парня в ближайшем окопе. Тоскливым взглядом он сопровождал раненых, идущих в тыл. А вскоре, после очередного шквала огня, один из минометчиков, высунувшись из ровика, замер в изумлении от увиденного. Парень, положив кисть левой руки на бруствер окопа, ребром шанцевой лопатки единым махом отрубил на ней пальцы. Затем, отбросив лопатку в сторону, закричал: «Санитар, ранен!» — и полез здоровой рукой в нагрудный карман гимнастерки за медицинским пакетом.

Это был Симка. Тот Симка, который искренне говорил нам о жгучей ненависти к врагу, пел патриотические песни, стремился скорее оказаться в бою и ожидал наград Родины. Теперь он стоял перед военным трибуналом и ожидал решения.

Нас потрясло, что человек, выросший вместе с нами на этой прекрасной советской земле, мог в трудный для нее час повести себя так подло, цинично поправ и свою священную клятву, и тех, кто бок о бок с ним сражался против врага. В тот день, если бы Симка даже избежал кары, он не мог уже остаться нашим другом, он обесчестил воинское звание и имя защитника Родины.

До сих пор не забыл я простых слов старшего батальонного комиссара.

— Что такое смелость? — спрашивал он и отвечал: — То же, что обыденно мы называем честностью. Вести себя смело в бою — значит вести себя честно, не думать, что победу за тебя добудет кто-нибудь другой, что кто-нибудь другой умрет за тебя и кто-нибудь другой покроет своей славой твое трусливое имя. Честные люди и есть смелые люди, потому что норма их поведения не позволяет им стать трусами. Идя в атаку, смелые думают о жизни, а не о смерти. И думают о том, чтобы, оставшись в живых, не стыдно было взглянуть в лицо мертвым.

Они любят жизнь сильнее трусов. Трус путает понятие: жить и существовать. Смелый же знает их разницу и никогда не согласится променять первое на второе. И потому-то он так смел, что отстаивает свою

гордую жизнь — единственно возможную и неповторимую...

— Родина вручила тебе оружие, — говорил комиссар, обращаясь к Шкляю. — Родина дала тебе наказ до последней капли крови сражаться с врагом. Ты давал присягу свято выполнить этот наказ. Но стал клятвопреступником! Стал изменником. Ты перебил себе руку и, обвязав ее тряпицей, хотел притвориться раненым! Хотел обманывать людей! Хотел представиться героем!

Шкляй испуганно озирался по сторонам, но никому из нас так и не решился посмотреть в глаза.

Он хотел сказать что-то в свое оправдание, сбился и замолчал. Приговор был суров, но справедлив.

Мрачные, мы молча расходились. Потом отсекр полка Пилипенко глухо проговорил:

— Ребята... Шмаков погиб...

Коля Шмаков учился с нами. К нему всегда тянулись товарищи. Мы все его любили. И больно было слушать рассказ о его гибели.

Два дня сражалась его рота, сдерживая натиск превосходящих сил противника. В первые часы боя погиб радист. Его мог заменить только сам Шмаков. Два дня, не смыкая глаз, держал он связь с полком, от которого фашисты отсекли роту. Вот уже в ней остались только раненые, на исходе патроны, нет гранат. В землянке радиста — одна противотанковая мина с взрывателем.

Когда у Николая кончились патроны, гитлеровцы ворвались в землянку. Тяжело раненные бойцы взвода (потом, когда подошло подкрепление) рассказывали, что слышали, как Николай крикнул:

— Комсомольцы погибают, но не сдаются!

Черный столб земли с обломками перекрытия землянки взметнулся к небу и рухнул, погребая под собой героя и фашистов. В уцелевшей полевой сумке Николая лежал не законченный им боевой листок. На свободной колонке замполит Пилипенко рассказал о подвиге фронтового товарища. А под лозунгом «Смерть немецким оккупантам!» написал: «Этот боевой листок от первой и до последней строчки сделал заместитель политрука, воспитанник Военно-политического училища Московского военного округа Николай Шмаков».

Комсомольцы, читая боевой листок, клялись отомстить за товарища.

Отрезанные от Большой земли, мы временами голодали. Как-то несколько дней рота не получала довольствия. Бойцы осунулись, помрачнели. Окопная болезнь тотчас же напомнила о себе: появилась отечность конечностей. Солдаты укрылись в землянках.

Я тоже лежал в одной из них, вырытой в склоне балки. От голода в ушах стоял перезвон, слабость клонила в дремоту. Вдруг через легкую ткань плащ-палатки, прикрывавшей вход, я услышал женский голос — срывающийся и возбужденный.

Я выглянул наружу, чтобы посмотреть, и замер от неожиданности. Перед солдатом стоял лейтенант и ослабевшим от голода голосом, утратившим мужскую тональность, внушал бойцу, как важно сохранять на фронте воинскую выправку.

— Замполит, — обратился он ко мне, — подготовь людей. К Черной балке подходит баржа с хлебом. Вашей роте приказано разгрузить.

Обессилевшие от голода солдаты больше часа одолевали путь в два километра. Баржа с хлебом уже стояла, приткнувшись к берегу. Матросы сноровисто маскировали ее сетью: противник был всего в нескольких десятках метров, за ближайшим мысом. Другая наша рота расположилась на его гребне, чтоб прикрыть солдат огнем, если фашисты попытаются захватить продовольствие.

Буханки хлеба несли хотя и в охапку, но бережно и сдавали на берегу начпэфээс * полка. Хлеб был всюду: в трюме, в руках солдат, осторожно идущих по зыбким сходням, на брезенте, расстеленном вдоль берега.

Тонкий запах свежего хлеба витал над нами. Ноздри жадно ловили его. При виде глянцевых, поджаристых буханок мы буквально захлебывались слюною. Горло душили голодные спазмы, и легкий озноб пробегал по всему телу. Вдруг солдат Алексеев с криком: «Не могу больше, нету сил!» — вцепился зубами в хрустящую корочку. Его соседи замерли, мучительно соображая, как

---

* Начальник продовольственно-фуражного снабжения. — *Н. Т.*

им поступить. Казалось, еще мгновение, и не удержать солдат.

— Не сметь!

Это крикнул Варивода, пожилой солдат. Разгрузка приостановилась. Все кольцом окружили Алексеева. Помолчали с минуту и также без слов вернулись на баржу. Только Варивода, положив ему руку на плечо, сказал без малейшего осуждения в тоне:

— Весь полк этот хлеб ждет...

Потом сплюнул и, виртуозно выругавшись в адрес Гитлера, сам пошел на разгрузку.

Фашисты, услышав голоса, начали обстреливать нас плотным минометным огнем. Волны разрывов сметали солдат со сходней. Они падали в ледяную воду и в первую очередь ловили в ней рассыпавшиеся при падении буханки, а потом бережно раскладывали на брезенте раскисшие и ломаные краюхи «на ветерок обсушиться».

Неподалеку на глинисто-кремнистом берегу под плащ-палатками лежали три солдата, срезанные на сходнях осколками вражеской мины.

После разгрузки нам разделили буханку на двадцать восемь человек как вознаграждение. Варивода сидел рядом с Алексеевым и тихо внушал ему:

— На войне, братец, человек большую науку проходит, великую выдержку вырабатывает. Тайком от комвзвода свой «энзе» уничтожить дело нехитрое. А ты обязан выдержать и не съесть его до приказа. И после приказа поразмышляй, как лучше им распорядиться: разом аль частями. На войне с утра за кашей никогда не загадывай, чем вечером опять харчиться будешь. Или возьми, к примеру, вот такую науку: как незаметно для немца у него под носом в котелке чай вскипятить? На это тоже своя выдержка нужна...

Варивода полез в нагрудный карман ватника и достал оттуда трубку с кисетом. Обстоятельно прочистив ее хранящейся в нем же проволочкой, он неторопливо набил трубку табаком, медленно и сладко затянулся.

— Вот опять же на трубку взгляни, хлопец. Вроде бы и не мудреная вещь, а знаешь, почему я ее курю? Бумаги, думаешь, нет? Ее здесь хватает. Гитлер листовками заваливает каждый день. К трубке меня война приспособила. Ей на передовой цены нет. Противник

огня не видит. Это тебе — раз! На морозе руки об нее греешь. Вот тебе — два... Ты, парень, помни, что хитрее да находчивее солдата трудно найти человека. Да не о том главный-то мой толк: помни, что наш солдат в фронтовом окопе — совесть народная, надежда людская, потому и вести себя во всем ты должен соответственно.

Алексеев слушал и согласно кивал головой, а я, глядя на них, вспоминал, как несколько дней тому назад, обходя землянки, беседовал с солдатами.

В той беседе я допустил просчет: в низкой и тесной землянке, где мы полулежали, полусидели на корточках, стал напыщенно призывать солдат сражаться мужественно. Излишним был для них подобный разговор. За неделю до этого мы выдержали несколько суток непрерывных боев.

Солдаты не ответили на мои слова даже взглядом. Я смутился и оборвал беседу на полуслове. Мне было совестно: «Ну как же это я?» Досада съедала меня. Наступила пауза. Нарушил ее Варивода. Тихо и как-то по-домашнему он промолвил:

— Нда-а, из пушки выпущенный снаряд обратно не вернешь... За себя скажу: ты меня, сынок, не агитируй, я за Родину-мать сам пошел сражаться, хотя годки-то мои для военного дела давно вышли...

Варивода замолчал, потом спокойно протянул мне свой кисет и почти ласково добавил:

— Закури, замполит. Чего нахохлился, занеможил, что ли?

Это было уже слишком. Я пулей вылетел из землянки и по балке зашагал к морю: «Сынок! Какой я тебе сынок...»

С моря тянул легкий ветерок. Понемногу он приводил в чувство, охлаждая начальственный гонорок, проясняя урок, преподнесенный мне Вариводой. И я понял, что более высокое звание и должность делают подчас лишь формальным старшинство над людьми. Конечно же, я «сынок» этому пожилому солдату, пошедшему воевать по велению сердца. Чем я, мальчишка, в сущности еще десятикласник, за несколько месяцев пребывания в военном училище поднялся над этим по-народному мудрым, житейски богатым и душевно щедрым человеком? Долго тогда сидел я на краю обрыва над

морем, беспощадно ругал себя и думал о несовершенстве табели о рангах...

Лавина событий, фактов, сложных жизненных ситуаций обрушилась в войне на наше мальчишеское сознание. Круто приходилось вчерашним школьникам, привыкшим жить просто. В военном училище мы жили по команде: «Подъем!», «Строиться!», «В укрытие!», «Окопаться», «По противнику — огонь!». На фронте не было и не могло быть ежеминутных команд. Требовалась личная инициатива, самостоятельность. Война предоставляла обилие фактического материала для размышлений.

В трудном положении оказались молодые политработники, не имевшие жизненного опыта.

С вчерашних школьников командиры строго спрашивали за каждого бойца и не делали поблажки и скидки на молодость. Правда, порою, видимо тоскуя по семьям, они не всегда могли скрыть и своих отцовских чувств к нам. Наверное, этим объяснялись непонятные мне в те времена вызовы капитана Башилова, командира полка.

За образцовое выполнение заданий командования в борьбе с белофиннами он был награжден орденом Ленина и слыл в 63-й дивизии одним из опытнейших командиров. По команде его вестового я стремглав летел на КП, докладывал по форме, а командир полка, пригласив кивком головы садиться, продолжал заниматься своим делом. В дзот входили старшие командиры и политработники, я поднимался в приветствии. А Башилов вновь кивал головой в сторону стула: сиди, мол, чего вскакиваешь...

В коротких перерывах он расспрашивал о моем родном городе. Там в эвакуации жила его семья. Я хорошо знал и улицу, и даже дом, в котором она нашла приют, и школу, в которой учился старший сын Башилова.

Капитан Башилов дотошно расспрашивал обо всем, что было связано с местом их нового жительства.

1 февраля 1942 года Совинформбюро сообщило:

«Молодежь предприятий гор. Горького успешно борется за увеличение выпуска продукции. На заводе им. Орджоникидзе недавно создано 50 молодежных бригад, которые выполняют план не ниже чем на 200 процентов. На Автозаводе создано 40 молодежных

бригад. Многие из них значительно перевыполняют свои сменные задания. Бригада тов. Шабаева ежедневно дает 565 процентов нормы. Бригада тов. Гаранина перевыполняет дневное задание в 5 раз».

Помню, как Башилов, вызвав меня к себе, с особой радостью, будто о своих земляках, сообщил мне об этом.

Впервые от него я услышал, что в Горьком на Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник в честь 24-й годовщины Красной Армии вышли целые заводские коллективы «Красного Сормова», «Красной Этны». Все средства, заработанные участниками воскресника, пошли на строительство танковой колонны имени ЦК ВЛКСМ.

И при каждой встрече Башилов просил меня снова рассказывать о Горьком, снова повторял свои вопросы и выслушивал ответы с одинаковым вниманием. Рассказ о незнакомом ему городе приближал его к семье. Как-то Башилов сказал тихо: «Мой-то старший — ровесник тебе, замполит...»

В то же время опытный командир прекрасно понимал, что таким душевным отношением мог испортить во мне солдата, и стремился не допустить этого подчас чрезмерно строгим отношением вне этих встреч. И когда потребовалось отправить разведку в Старый Крым, Башилов назвал и мою фамилию.

В боевой обстановке мы взрослели не по годам, но втайне стыдились своей молодости.

346-й горнострелковый полк до боев в Крыму уже имел свою историю. Многие командиры, подчеркивая свою принадлежность к ветеранам части, отпускали бородки и щегольски выбривали их на персидский манер. Нам тоже хотелось скорее стать ветеранами или хотя бы внешне, ну, бородой, что ли, быть похожими на них. Но вместо нее на лице рос предательский пушок. Ох, до чего же страдальчески переживали мы свой юношеский вид. Мы ежедневно скоблили лица бритвой, но от этого выглядели еще моложе. А борода и после бритья не торопилась расти. Но сами мы тоже не упускали случая подтрунить над теми, кто оказался моложе. Вспоминаю, как к нам в полк прибыл один младший лейтенант. Вопреки строевому уставу звали его друзья-

офицеры просто Ленькой. Вид у него был девичий, рост — маленький. Однажды, глядя на него, кто-то из нас в шутку сказал: «Ленька в армию по детскому билету приехал...»

Душевно мы мужали быстрее. Незаметно становились и ветеранами. Иногда ветерану было сорок пять, иногда восемнадцать лет. Среди обстрелянных фронтовиков разница в годах быстро утрачивала обыденное значение. К молодому, но понюхавшему пороху бойцу у «старичков» уважительное отношение появлялось в бою, где пуля и снаряд не щадили ни вчерашних школьников, ни многодетных отцов. Без тени снисхождения выслушивали они наши рассказы о недавних школьных шалостях и, в свою очередь, без покровительственного тона раскрывали нам хитрости жизни. Так складывалось единство фронтовиков.

Всем нам предстояло стать бойцами по сути, а не формальному званию. Это означало, что одного только мужества и храбрости в бою явно недостаточно. Надлежало быть умелым воином, не просто хорошо знающим оружие, но овладевшим искусством его применения.

Еще до войны учились мы метко стрелять и, выполнив спортивный норматив, получали значок «Ворошиловский стрелок». За освоение военно-спортивного комплекса удостаивались значка «Готов к труду и обороне».

В учреждениях и при домоуправлениях медицинские работники учили жителей оказывать первую медицинскую помощь, принимали зачет на значок «Готов к санитарной обороне». Всюду организовывались кружки, в которых люди готовились к противохимической защите. Такую подготовку проходили многие.

Для детей была разработана программа и комплексы упражнений с учетом возраста.

Маршируя в часы военно-физической подготовки, мальчишки распевали:

Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.

Среди молодежи шло подлинное соревнование за овладение оборонными видами спорта. А значки, не

подразделявшиеся, как теперь, на «золотые» и «серебряные», мы носили как высокие награды.

Зимой 1941 года проводился Всесоюзный лыжный кросс. В нем участвовало около 2 миллионов человек, подавляющее большинство которых овладели меткой стрельбой, сдали нормы на значок «Ворошиловский стрелок», занимались парашютизмом, планеризмом, были курсантами аэроклуба.

Идейно нас тоже готовили к защите Родины. Загляните в газеты предвоенных лет. Обратите внимание на информацию по военно-патриотическому воспитанию.

Оценивая сейчас значение внеармейской военно-спортивной подготовки тех лет, нам легче ответить на вопросы: почему сотни тысяч юношей и девушек после ускоренного обучения на курсах военных училищ приходили на фронт в основном подготовленными к бою; где черпало народное ополчение и партизанские отряды людское пополнение, сражавшееся против регулярной гитлеровской армии.

Как бы плохо ни было людям на передовой, они привыкали к ее обстановке, создавая какой-то свой, фронтовой быт и распорядок, особенный ритм и уклад жизни. И если ты в обороне, то сразу же налаживаются боевые и политические занятия.

Каждое подразделение имело не только свой участок по линии фронта, но и некоторую глубину. Пользуясь этим, мы отводили роты поочередно в тыл батальона и там проводили с ними занятия.

На фронт почти ежедневно приходили молодые бойцы; им все внове: и артиллерийские обстрелы, и свист залетевшей шальной пули. С нескрываемым любопытством слушали новички спокойные слова обстрелянных товарищей, постигали азы солдатской мудрости.

Бывалые солдаты — люди большого сердца. У них в натуре — помочь другому. Все, что приобрели ветераны в боях, отточили и отшлифовали в ожесточенных схватках с противником, становилось достоянием коллектива. Каждый шаг на поле боя поучителен, а опыт лучших командиров и бойцов был плодом наивысшего морального напряжения, в котором часто проявлялись смелая мысль, сила воли, умение применяться к обстановке, находить наилучшие способы и приемы борьбы.

Золото боевого опыта было не в хвалебных словах — в поучительности. Вот группа бойцов из пополнения залегла в неглубокой балке; обучается снайперскому ремеслу, выполняя наказ ЦК ВЛКСМ: «Комсомолец, будь метким стрелком!» А потом лучший ротный снайпер-комсомолец Резеб Кличнеязов рассказывает им:

— В газете я недавно вычитал, как фашистов из окопа выманивать надо.

Его натуре бывалого солдата чужды ячество и зазнайство. Я знаю, Кличнеязов скромничает, говоря о своем опыте, о случае, с ним самим происшедшем.

— Значит, дело было так, — продолжает он. — Сидели наши в засаде. Немцы попрятались, не показываются, зарылись на сопке. А наши снайперы на соседней высотке. День без толку прошел. Второй... На третий наши додумались, как фашиста над окопом поднять. Нанизали на веревочку банки из-под консервов и привязали ее к колесу от разбитой повозки. Минута, и колесо, бренча и громыхая, катится к неприятельским окопам. Немцы выглядывают: что за грохот. А этого только и нужно снайперам...

А рядом новобранцы учатся кидать связки гранат под гусеницы вражеского танка. Он стоит неподалеку, мрачный и обгоревший, с четким черно-белым крестом, участник и свидетель недавнего ожесточенного боя.

Дальше — отделение солдат роет окопы полного профиля. Их консультируют обстрелянные бойцы. Они-то знают, что закапываться надо в землю точно: не слишком глубоко, но и не показывая себя противнику.

А эта «дискуссия» развернулась вокруг противотанкового ружья. Новички смотрят на него и удивляются: совсем нехитрое оружие — ствол с затвором да сошники. Один из солдат пополнения, вспоминая фронтовой анекдот, шутит: «Ружье «пэтээр» — длинное и тяжелое, а несут его только двое. Солдатский котелок маленький, а похлебку в него наливают на четверых». Все, довольные шуткой, смеются. Тогда острослов из пополнения выпускает еще один заряд солдатского юмора, подслушанного в пути на фронт:

— Да, что и говорить, одним словом, длинный ствол — короткая жизнь.

Опять все смеются, и ветеран с ними тоже, но вдруг,

посерьезнев, говорит, любовно поглаживая холодный металл:

— Это точно, ребята! С таким ружьем шагать тяжело, но зато с ним не надо от немецких танков бегать.

И начинается занятие...

В фронтовой обстановке между боями поведают бывалые солдаты бойцам пополнения, что попали они в полк, имеющий свою историю, свои традиции и порядки. Комсомольские активисты расскажут о молодых воинах-героях, о книге боевых дел комсомольцев полка, познакомят с обстановкой.

Тяжкий и опасный труд выносил на себе бывалый солдат. На фронте он испил всего и до дна: и горечь отступления, и радость победы, вкусил замшелого солдатского сухаря и на всю жизнь пресытился похлебкой, заправленной перловой крупой — «гвардии шрапнель», как называли ее в шутку. Познал ледяные переправы через реки и речушки (о которых не ведал до того даже по названию). Десятки раз бывал перед смертью и вырывался из ее цепких объятий. В его вещмешке всегда хранилась пара белья. Перед боем надевал чистую нательную рубаху. Делал это, возвратясь с комсомольского или партийного собрания, на котором узнавал о задаче предстоящего боя. На ироническое замечание, не является ли это суеверием, отвечал незлобиво: «Ты в мои дела не суйся, испокон веков солдат на Руси в смертный бой чистым шел, так что не трожь меня лучше...» И вдруг спрашивал язвительно:

— Сам-то ты что белье не меняешь? Думаешь: в грязном не убьют?

И говорить было нечего.

Никто из начальства не утверждал нас в звании бывалых солдат. Никто из нас не заявлял о себе так. Но было оно самой высокой фронтовой оценкой действия и поведения бойца, отмеченных разве что золотистыми и красными ленточками — знаками ранения, которые согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР следует располагать на правой стороне груди выше орденов.

Вот так и передавался фронтовой опыт, ковалось солдатское мастерство, которого не хватало нам после внеармейской подготовки, всевобуча и краткосрочных военных курсов.

Всесторонняя выучка всегда считалась самым цен-

ным боевым качеством войск. На войне эту выучку проходили непрерывно. Это был огненный курс боевого воспитания. Через него мы познавали «аз, буки, веди, глаголь и ижицу» солдатской мудрости.

Для меня она стала и азбукой жизни, в которой через «глаголь» постигал я силу и красоту меткого фронтового слова. А «ижица» (последняя буква в той азбуке) воспитывала выдержку, столь необходимую в учении и бою.

Наша молодежь противопоставила фашизму несгибаемую силу, направляемую глубокой идейностью, волю к победе, веру в нее.

И уж коль зашла речь о воинском искусстве, то в бою оно без крови не бывает. Лишь смертью врага утверждается твоя жизнь и жизнь твоих товарищей по оружию. И это есть высшее проявление Справедливости, Возмездия в Священной войне, которая ведется в защиту социалистического Отечества.



О БОЕ, ЗАТЕРЯВШЕМСЯ В ЛЕТОПИСИ ВОЙНЫ

Утром 16 февраля тяжелый, густой туман придавил землю. Окоченевшие за ночь в окопах боевого охранения, мы с нетерпением ждали старшину роты, доставлявшего в заплечных армейских термосах пищу.

В предрассветных сумерках ко мне подошел капитан Никифоров:

— Замполит! Сходите с Резебом Кличнеязовым на нейтральную. Да побыстрее, пока туман не рассеялся. Об обстановке доложите...

Нам требовалось узнать, есть ли немцы в окопах, расположенных на нейтралке.

Нейтральная полоса — вершина сопки, на противоположном склоне которой закрепился противник: мы — на восточном, фашисты — на западном. В ясный день смельчака, отважившегося показаться на вершине сопки, подстерегала вражеская пуля, но в такой туман было вполне безопасно.

До вершины доползли быстро. Оттуда по ходу сообщения добрались до большого блиндажа. Немцев нигде не было. В блиндаже среди брошенных в спешном отступлении вещей мы обнаружили портативный перископ. В его оптику попала влага, и я стал протирать линзы.

— Замполит, ветер пошел. Надо быстрее назад, — сказал Кличнеязов.

— Давай, Резеб. Я сейчас.

Мне не терпелось испробовать прибор, который я до этого никогда не держал в руках, и еще несколько минут провозился с ним.

Когда же, выставив перископ над бруствером окопа, я взглянул в него, то обомлел. Рядом сидели гитлеровцы и глядели прямо на меня, а один, попыхивая сигаретой, при этом еще и нахально улыбался.

От неожиданности прибор выскользнул из рук, а я застыл в оцепенении, ожидая стрельбы. Но угнетающая тишина ничем не нарушалась. Не то что свиста снаряда — крика птицы, мышиного писка не слыхать.

Ком подтаявшей земли, отвалившись от края окопа, придавил ногу. Мне показалось, что кто-то уже стоит над окопом, но не было сил ни взглянуть, ни двинуться.

Придя в себя, я сообразил, что противник не так уж близко, просто сработала сильная оптика, но новая тревога вошла в меня. Кличнеязов был прав: ветер, подувший с моря, быстро развеял туман.

Что делать? Ползти на виду у противника или отсиживаться до наступления темноты в блиндаже? И то и другое было рискованно.

Не зная, что делать, стал осторожно вращать перископом — осматривать гитлеровские позиции.

Наиболее укрепленные располагались на следующей высотке, контролирующей подступы к большому селению. Вспоминая названия населенных пунктов, нанесенных на карту, догадывался: это Дальние Камыши. Близ водокачки на окраине городка мигнул огонек, и вскоре метрах в ста за спиной раздался разрыв.

Боевое охранение обстреливают — значит, десять часов утра. Фашисты были пунктуальны и начинали свой фронтовой день в одно и то же время обязательным обстрелом наших позиций. С минометной батареей у водокачки перекликнулась другая, стоявшая ближе к сопке, а за нею враз еще несколько батарей, расположенных совсем рядом с брошенным блиндажом. И так несколько минут. Это похоже было на артподготовку, за которой, как правило, следовала атака.

Положение становилось опасным. Я лихорадочно осматривал позиции врага, и, как всегда бывает в минуты высшего нервного напряжения, мозг фиксировал все виденное до мельчайших подробностей: расположение окопов противника, его примерную численность и многое другое, что обретает на фронте особо важное значение. А потом, заметив русло вымерзшего ручья, решил одолеть по нему спасительные метры до своих окопов по-пластунски.

В училище, на занятиях по тактике, я вначале считал бесполезным растрачивать силы на «возню» в поле, особенно если их проводил наш ротный, младший лейтенант Сапронов. Однажды не выдержал и при очередной команде вяло бегал, ложился, полз, расценив все эти упражнения солдафонством Сапронова.

Младший лейтенант, немного пошумев, отступился.

Курсанты пророчили мне «губу», а «рябчиков»-то уж

наверняка. Но ни гауптвахты, ни нарядов вне очереди я не получил, ибо не таким уж простым оказался наш командир роты, прошедший путь от кадрового бойца до младшего лейтенанта за предвоенные годы действительной службы. Он прибыл в училище после тяжелого ранения, полученного под Ельней, до которой с боями отступал от самых западных границ.

На рассвете разбудили меня за час до подъема. Дневальный пояснил, что у казармы ожидает командир роты. В то утро он провел со мной первое индивидуальное занятие, полз на полкорпуса то впереди, поговаривая: «делай как я», то сзади, ехидно замечая: «ложись так, чтоб «хвост» не торчал, опусти ниже, ранят — что товарищам скажешь: «отступал» иль «нужду справлял»? От слов Сапронова не было обидно; сам младший лейтенант перемещался ловко и быстро.

Еще много раз выбегал я на приказарменный плац по утрам, пока не занял в роте первенства в ползании по-пластунски.

Сапронов поставил меня перед строем и за отличную подготовку от лица службы объявил благодарность.

Теперь эта выучка очень пригодилась в боевой обстановке. Суворовская заповедь «тяжело в ученье — легко в походе» зазвучала не отвлеченным афоризмом.

Когда я стал докладывать капитану Никифорову об увиденном, он заинтересовался:

— Замполит, а ты прав. Высота имеет большое тактическое значение: и корректировать огонь наших батарей с нее хорошо, и за противником наблюдать, и наступать с нее будет неплохо...

Он тут же связался с командиром полка и отправился в дот командного пункта.

Вскоре в роте появился начальник штаба батальона с командиром батареи. Они обстоятельно допросили меня о расположении сил противника, и артиллерист отметил на своей карте координаты вражеских минометных батарей.

Покидая боевое охранение, начштаба заметил Никифорову: «Замполит заслуживает награды за ценные разведывательные данные».

В приподнятом настроении сидел я в окопе с Алено-

вым, рассказывал, как под носом гитлеровцев ловко прополз смертельные метры: то ли снайпера фашистского на месте не оказалось, то ли канавка спасла. Беседуя, попросил у него прикурить, потянулся к дымящейся самокрутке. Уже затягиваясь, заметил, как неловко дрогнула его рука и, качнувшись слегка, прижгла мне окурком щеку. Отпрянув, я буркнул:

— Плохо шутишь!

А он безмолвствовал. Осколок (не слышно, как и летел) угодил ему в сонную артерию.

Аленов прибыл к нам из второго эшелона, горячо рвался в бой, а мы застряли в обороне. Его угнетала видимая бездеятельность, высиживание в окопах и мало беспокоящая противника стрельба наобум. «Сидим, окопались, как кроты, — сокрушался он. — Какой день на передовой, а живого фашиста ни разу не видел. Одни слова, что в действующей армии нахожусь. Какая же она — действующая?»

Не один Аленов, защищая Родину, так и не столкнулся лицом к лицу с противником. Многие погибли или получили увечья на всю жизнь за десятки километров от переднего края: ехали на фронт, да под бомбежку попали, к примеру. Или вот так нелепый, шальной осколок оборвал жизнь.

Не думал я, что та разведка в туманный февральский день 1942 года приведет меня к бою, запомнившемуся на всю жизнь. Данные с нейтральной полосы пригодились: через несколько часов роте был дан приказ занять высоту 66.3 — ту самую, на которой мы были с Кличнеязовым.

После короткого совещания командиров взводов и отделений мы пошли по окопам разъяснять задачу. Вскоре артиллеристы дали по позициям гитлеровцев несколько мощных залпов, и под их прикрытием атака началась.

— Вперед, за Родину! — крикнул капитан Никифоров.

Короткими перебежками мы пошли в атаку. Я шел с первым взводом, показывая лейтенанту Лейченко расположение окопов и блиндажей. За нами — один взвод слева, другой — справа, углом вперед, чтобы укрыть

фланги. Через полчаса рота была уже на высоте и стала закрепляться на ней.

Наступило вечернее затишье. Только короткие очереди беспокоящего огня из стрелкового оружия напоминали о близости противника.

— Ищи свободный окоп, замполит, — сказал капитан Никифоров. — Не найдешь — новый рой.

Побродив в темноте по переднему краю, наткнулся на окоп пулеметного расчета старшины Буймистрова, поболтал с солдатами, покурил, да так и остался с ними до утра. Ожидали его в тревоге: противник мог предпринять атаку.

Говорили про родных, оставшихся в тылу, про то, что они пишут. Я вспомнил письмо, только что полученное от мамы, и рассказал бойцам о том, что особо поразило меня. «Ванька» в ноябре приходил хулиганить, но все обошлось хорошо». Это означало, что немец прилетал бомбить Горький. В военное время об этом нельзя было писать, и мама поэтому называла немцев «Ванькой». Потом зашел разговор про мирную жизнь, и мы стали мечтать, какая она будет прекрасная, радостная, когда одолеем фашистов...

Много мы тогда говорили о героизме наших воинов.

В тяжелые для Севастополя дни во время штурма его фашистами отличилась Нина Онилова. Сейчас о ее подвиге знает вся страна. Я же узнал тогда об этой бесстрашной девушке-пулеметчице из нашей фронтовой газеты. Я достал из кармана гимнастерки номер «Боевого натиска», где был опубликован очерк о сержанте Ониловой с ее фотографией. Уже рассвело настолько, что можно было рассмотреть простое, открытое лицо Нины с доброй, смущенной улыбкой, и я передал газету красноармейцам, а сам стал рассказывать о том, как эта девушка, работая на трикотажной фабрике, вместе с подругами изучила пулемет; как у нее хватало выдержки, мужества подпускать пьяных фашистов, идущих в психическую атаку, на близкое расстояние и затем косить их метким свинцовым огнем...

Где-то высоко в небе, невидимые за облаками, загудели «юнкерсы»: они шли бомбить Керчь. И тут же гитлеровцы открыли массированный минометный и артиллерийский огонь. Обстреливали каждый метр наших позиций в шахматном порядке. Над высотой стояло облако дыма. Мы сидели в окопе, полузасыпанные зем-

лей. Только старшина Буймистров, командир пулеметного расчета, иногда на мгновение поднимался, вглядываясь в мглу за бруствером окопа.

Обстрел оборвался внезапно. Наступило обманчивое состояние покоя. Все поняли: сейчас начнется атака. В нелегкой ситуации оказался пулеметный расчет. Окоп находился впереди основной цепи роты метров в тридцати пяти. Для человека гражданского это длина небольшого спортивного зала, ширина городской улицы. Фронтовик, пехотинец измерял эти метры в бою другими мерками, иными образами он мыслил: все огневые средства противника должны обрушиться в первую очередь на тебя — первый выстрел, первая граната, первый штык. Роте тоже будет плохо, а тебе во сто крат хуже.

Мы раскладывали в нишах окопа цинковые коробки и обоймы с патронами, гранаты и запалы к ним. В бою все должно быть наготове, под рукой.

Гитлеровцы показались неожиданно и совсем рядом («Как только сумели подползти?»). На мгновение они поднимались, давали очереди из автоматов и тут же падали. Спешно меняли позиции, подобравшись к нам еще ближе, вновь поливали пулеметный окоп автоматным огнем.

Под огневой защитой «максима» мы чувствовали себя уверенней. Нам не было слышно стрельбы роты, и создалось какое-то гнетущее ощущение вакуума в собственном тылу: «Может, отошли?» Только на другой день мы узнали, что в самом начале боя гитлеровцы прорвали наши фланги и роте пришлось занять круговую оборону, пока соседи смыкали линию фронта.

Под огнем противника кругом все стонало, а мы чувствовали себя песчинкой перед лицом урагана. Обойму за обоймой закладывали в магазин карабинов: помогали Буймистрову одиночными выстрелами косить фашистов.

На полигонах училища стрелял я метко, а тут будто взял оружие впервые: мне казалось, что я мажу — с каждым выстрелом гитлеровцев становилось все больше и больше.

Мы отчетливо видели их лица и готовились к неравной рукопашной схватке. Вот уже в ход пошли гранаты, и запас их истощался мгновенно: главное — не дать гитлеровцам прорваться, не подпустить к окопу.

Наконец «заговорили» наши минометы. Но били близ нашего переднего края. Стащив пулемет с бруствера, мы ожидали «нареченную» мину. Но, к счастью, минометчики перенесли огонь ближе к противнику. Наступила передышка.

Не выкурили и по самокрутке, как фашисты снова поднялись в атаку.

— Стрелять только по команде, — сказал старшина отрывисто. — Когда я бью по центру, вы — по флангам! Я — по флангам, вы — по центру... Понятно?

Теперь Буймистров вел прицельный огонь короткими очередями и все время косился на коробки с лентами. Они таяли на глазах, а солдат, давно посланный в роту за боевым обеспечением, не возвращался.

— Замполит, — прохрипел пулеметчик, кивнув на пустые коробки, — поищи в округе, может, и найдешь чего?

Но это была очень призрачная надежда. К тому же фашисты снова показались рядом.

— Давай, замполит... От пули не убежишь, от снаряда не спрячешься... — Он дал длинную очередь. — Ползи, ползи, замполит... Чего сдрейфил? Не всякая пуля — в лоб... Окоп рыли не для того, чтобы отсиживаться, — стрелять в фашистов надо, а нечем. Ползи, говорю, за патронами... Помни: не смерть страшна — стыд страшен...

Я правильно понял Буймистрова, его такое, в другой момент невозможное обращение ко мне, старшему по должности: сейчас Буймистров как пулеметчик стал главной фигурой на этом участке боя.

Неприятно было ползти навстречу огню. Сколько таких огненных маршрутов исползали мы за войну, прячась от врага в едва приметных складках местности!

Как только я покинул окоп, будущее для меня сразу перестало существовать. Суетными казались прожитые годы, а мир — расколотым на две неравные половины: мизерную, вместившую отсеченное прошлое и грандиозную — сегодняшний час боя. В нем каждая минута значительна, а действия обусловлены чувством долга. Очень ясно в эти минуты начинаешь понимать его в единственном нравственном измерении: не тебе должны, ты должен! Должен сделать все. Даже невозможное. И это — без рисовки, обыденно и незаметно.

В тот хмурый февральский день я был как заговоренный. Потеряв шапку-ушанку, сбитую волной разорвавшегося вблизи снаряда, осколок которого застрял в складках моего ватника, я вернулся с несколькими заряженными дисками. В окопе лихорадочно набили ленту патронами. Второй номер расчета был убит, но вскоре вернулся солдат с тремя оцинкованными коробками — 200 патронов в каждой! «Экономно расходуйте, — бросил он. — Оружейного завода в роте нет».

Буймистров повеселел. Он был кадровым старшиной-пулеметчиком, владел оружием отлично.

— Силен ты в стрельбе, — восхищенно заметил я во время передышки.

— Уральские мы... — сказал старшина неопределенно. А потом, заметив мое недоумение, пояснил: — Видать, еще не знаешь ты, замполит, уральцев да сибиряков в бою. Сам-то я из Оренбурга, а оренбургская земля — дивная... Про Чапаевскую дивизию слыхал?..

Несколько атак отбила в тот день рота. К вечеру бой переживал агонию. Фашисты, еще раз собравшись с силами, поднялись в атаку, но, быстро истощив свои силы, откатились. Прошел последний вал артиллерийского и минометного огня, за которым броска вражеских автоматчиков уже не последовало. Бой уходил на убыль подобно тому, как иссякает сильный летний ливень — он уже пронесся, но короткие очереди крупных дождинок еще обстреливают землю из лохмотьев отступающих туч.

Смеркалось, когда Буймистров, сняв руку с гашетки, как-то странно провел ею по лицу и отпрянул навзничь. Следом за ним упал и сидевший рядом солдат...

На обеих сторонах тишина, от которой я почувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся на плечи. Почти в полузабытьи, не отдавая себе отчета в том, что делаю, я поднялся во весь рост и пошел по полю, еще горячему от двухдневного боя.

Падал снег. Кругом валялись трупы гитлеровцев, и над всем этим господствовала необычная тишина.

Я не сразу понял, что так жарко полоснуло по шее. Тело забил легкий озноб. Слабость заставила опуститься на землю. Машинально засунул руку за липкий воротничок гимнастерки. Почувствовал боль. Ранен...

Капельки крови стекали с руки на пушистый снег.

Я сидел рядом с убитым немцем и глядел, как под хлопьями снега исчезали бурые пятна и терялись очертания чужеземца.

Глубокой ночью роту сменили. С поля боя уходили четырнадцать человек. Но высоту 66.3 отстояли, не удалось врагу захватить ее.

— Жив, замполит? — без эмоций, почти равнодушно спросил капитан Никифоров. Лицо его было необыкновенно бледным, осунувшимся. — Ну, коль рана легкая, задержись чуток. Сейчас команда подойдет, покажи солдатам, где рота полегла...

Сказал и тяжело зашагал в тыл полка.

Этой же ночью под постоянно возникающим мертвенно-зеленым заревом вражеских осветительных ракет (отчего тьма казалась еще непрогляднее) хоронили мы на краю глубокой балки товарищей по оружию. Когда в братскую могилу опускали завернутое в плащ-палатку тело старшины Буймистрова, вспомнились его слова: «Помни: не смерть страшна, стыд страшен...»

Жестокие дороги войны обозначены могилами наших доблестных воинов, павших смертью храбрых в боях с гитлеровскими захватчиками. Меряя трудные километры, мы не задумывались над тем, что пройдут годы, и с чувством священной благодарности и в глубокой скорби придут поклониться этим могилам миллионы советских людей, воздвигнут над ними монументальные памятники и зажгут священный огонь.

Мы же воздавали воинскую почесть погибшим товарищам, как только затихал грохот боя. Бережно поднимали закоченевшие тела и в суровой обстановке предавали земле. Смахивая горькую скупую слезу, немногословно клялись над прахом боевых друзей беспощадно мстить врагу за каждую каплю пролитой ими крови.

До сегодня остались врезанными в память те минуты прощания. Без парадной торжественности. Скупо, буднично. Война есть война.

Снег прекратился, и теперь накрапывал дождь. Крупные капли били по плащ-палаткам.

Когда в ров полетели первые комья кремнистой земли, невесть откуда появился пожилой, прихрамывающий

гармонист. Простуженно шмыгая носом, он заглянул в яму.

— Ох, сколь наших полегло седни...

Привычным жестом широко растянул мехи и заиграл «Вы жертвою пали...».

— Другого я, замполит, не знаю, — сказал, как бы извиняясь. — Им бы оркестр симфонический, а тут... — Он в сердцах надавил на басы.

— Тихо ты! — приглушенно крикнул кто-то на гармониста из темноты. — Сейчас по твоему оркестру фашисты стрелять будут...

— Вот она, душа-то русская, — философствовал стоящий рядом со мной солдат, — вся жизнь под гармошку: родится ли, свадьбу ль играет, умрет ли человек...

В землянке при свете коптилки я просматривал личные документы захороненных. Среди них лежал партийный билет Буймистрова.

В борьбе с фашистами нам, молодым, предстояло пройти суровую школу войны и ускоренного гражданского воспитания. И ныне, вспоминая уроки этой школы, размышляя об источнике несгибаемого мужества участников Отечественной войны, многие фронтовики говорят, что в их жизни, как и у Алексея Мересьева, был «свой комиссар». «Мой комиссар» был образом собирательным, может быть, первую краску на его портрет нанес слесарь сормовского завода, сосед по каюте туристского парохода, первый заставивший меня задуматься о месте коммуниста на войне. А может, отец? Вот и Буймистров тоже был партийный, раздумывал я.

В мыслях моих возникали мужественные образы воинов-коммунистов, подобные Буймистрову, мудрому и уравновешенному капитану Никифорову.

На войне мне запомнились люди суровых характеров, относившиеся к военному делу как к трудной, но необходимой работе. Старшина-пулеметчик, сын Оренбуржья, сложивший голову на керченской земле, не поднимался навстречу противнику с возгласом: «За Родину!» Не шел на самопожертвование в критический момент боя. Не вел с нами в тесном окопчике страстных бесед. Все делал обыденно и просто. Но именно в этой

обыденности, спокойствии и основательности, с которыми Буймистров управлялся с пулеметом, в его всепоглощенности боем, в его коротких фразах я почувствовал тогда возвышенную душу этого человека, коммуниста, от которой веяло и несгибаемой волей к победе, и ненавистью к фашистам, и любовью к Родине.

Для нас, молодых воинов, комсомольцев, слово «коммунист» стало на фронте символом мужества и бесстрашия. Увидели мы в сражениях, что не щадят себя коммунисты ради Отчизны, что видят они в ее свободе и независимости и свое высшее благо. Хорошо поняли, что коммунист на войне — это человек воинского долга, образец стойкости и воли к победе.

В суровых водоворотах разбушевавшейся войны продолжал отливаться в нашем сознании образ члена партии. И когда воин хотел сказать, что он будет защищать Родину беззаветно, героически, он говорил: «Буду биться с врагом, как коммунист». Вся страна узнала в 1942 году из коротенького сообщения в «Правде» о героической смерти в бою двадцати двух комсомольцев-черноморцев из отряда минера Никулина. Восхищало нас не только мужество и непреклонная воля моряков к победе, но и то, что у каждого из них была найдена записка «Умер коммунистом».

Лучшие из фронтовиков всей душой рвались в партию. «Прошу считать меня коммунистом». «Хочу идти в бой коммунистом». Сейчас трудно установить, кому первому принадлежали эти слова, наспех набросанные на листке, вложенном в комсомольский билет или красноармейскую книжку. Одно подтверждено и установлено тысячи раз — торопливая рука солдата писала их в горячей лихорадке боя, перед смертельной атакой. Тут не до лицемерия и ханжества, не до рисовки. И если уж потянулась рука к заявлению, значит, поведением своим будешь отвечать на вопрос: «Достоин ли?»

Месяц пребывания на фронте стоил нескольких лет мирной жизни, ибо нигде не проявлялись так полно все качества человека, как на поле боя. Да что месяц! Здесь порою за один день человек раскрывался весь. Ведь человек, совершая тот или иной поступок, сам пишет свою собственную характеристику. А поступки человека в бою — его наиболее объективная аттестация. Вот почему уже в августе 1941 года Центральный Комитет партии принял постановление о порядке при-

ема в партию лучших воинов, а в декабре — о льготных условиях приема в члены ВКП(б) отличившихся в боях защитников Родины.

Лучшие качества коммунисты воспитывали у своей смены — членов ВЛКСМ, и комсомол доказал, что является надежным резервом партии. В те годы каждый второй вступивший в ее ряды прошел школу Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Около 1 миллиона 769 тысяч комсомольцев-воинов пополнили партийные организации действующей армии. Это значило, что решающей аттестацией многим из защитников Родины при вступлении в партию была прежде всего достойная боевая характеристика.

Вот почему сейчас мне хочется рассказать об одном протоколе фронтового собрания. Партийного.

Этот протокол составили коммунисты экипажа подводной лодки М-171. «Малютками» называли на флоте тип таких лодок. Героически сражался ее экипаж всю войну. «Малютка» совершила 29 боевых походов, на ее счету 17 потопленных и два поврежденных фашистских транспорта и корабля. Но это итоговые данные. Сейчас же рассказ о начале войны. Двадцать коммунистов гвардейской подводной лодки М-171 собрались, чтобы... Впрочем, лучше обратимся к самому документу:

«Повестка дня:

1. О решении секретариата ЦК ВЛКСМ...
2. Прием.
3. О роспуске КСМ организации подлодки...

По первому вопросу:

Слушали: командира подлодки гвардии капитана 3-го ранга Старикова В. Р., который сообщил большую радость для партийной организации и всего экипажа, о решении ЦК комсомола передать переходящее Красное знамя ЦК лучшей подводной лодке...

Решение: Коммунисты и кандидаты ВКП(б), встречая с большой радостью известие, что ЦК комсомола своим решением передает нашей подлодке переходящее Красное знамя, сердечно благодарят комсомол Родины... Наш гвардейский экипаж из комсомольского стал в дни Великой Отечественной войны партийным, члены его стали коммунистами и кандидатами партии. С каждым днем мы сильнее наносим удары по врагу и в от-

вет на большую награду заверяем весь комсомол Советского Союза и Центральный Комитет, что гвардейский экипаж еще крепче и насмерть будет бить врага в его же водах, до полного его уничтожения. Это слово гвардии, а слово гвардии — как сталь.

По третьему вопросу:

Слушали: секретаря КСМ организации тов. Лебедева А. М. о роспуске КСМ организации.

Членов ВЛКСМ до войны было 15 человек. И вот сегодня мы приняли два последних комсомольца кандидатами в члены ВКП(б). Поэтому отныне КСМ организации у нас не существует. Все члены экипажа стали коммунистами.

Решение: Информацию секретаря КСМ организации тов. Лебедева принять к сведению. Отметить большую и плодотворную работу комсомольцев в подготовке личного состава к боевым действиям и в боях с немецкими оккупантами. Секретарю КСМ организации тов. Лебедеву А. М. все хозяйство и документы КСМ организации сдать военкому дивизиона».

Наутро после боя за высоту 66.3 и меня принимали кандидатом в члены партии.

— Звание коммуниста всегда почетно и ответственно. А здесь, на фронте, особенно, — говорил Никифоров. — Коммунист — это наиболее сознательный, наиболее смелый, наиболее дисциплинированный боец, и ты не должен знать страха в борьбе с врагом. Коммунист — это вожак масс, и ты должен показывать личный пример доблести и отваги. Не жалеть сил во имя победы нашего правого дела.

Зачитали мое заявление: «Прошу принять меня кандидатом в ряды партии. Я буду драться с врагом, не зная страха в борьбе. Буду громить фашистов, как подобает большевику».

После партийного собрания состоялось заседание комсомольского бюро полка. Отсекр полка замполит Пилипенко, поздравив меня с приемом в партию, попросил рассказать, как сражался пулеметный расчет роты, как погиб Буймистров.

О том бое в полковом донесении был зафиксирован и другой факт. Замполит Антипов и красноармеец Сухов подорвались на минном поле противника. Солдату

раздробило правую стопу. Антипову порвало живот. Оставляя за собой кровавый след, они упорно ползли к своим. Сухову пришлось взвалить товарища на спину. Истекая кровью, он дополз до своего проволочного заграждения и застыл здесь навсегда в нелепом движении по-пластунски. Антипов, еще живой, лежал на нем, спина к спине. Санитары быстро перенесли его на носилки, но, когда добрались до санбата, помощь была уже не нужна и ему.

Никифоров и Сагинадзе сидели в землянке, когда я вернулся с заседания бюро.

— Ну что, замполит, — сказал капитан. — Теперь в живых бы тебе остаться, а уж повесят наверняка.

— Меня повесят? За что? — спросил я.

— Не прикидывайся скромницей: сам знаешь — за что.

Никифоров приучал нас «самостоятельно ворочать мозгами», не любил многословия и дотошных собеседников. Сагинадзе улыбался в густые усы. Я недоумевал. Только вечером комиссар полка Мартынов сказал просто, без обиняков:

— На тебя реляцию сейчас подписал, наградную.

— А не рано? — наивно сорвалось у меня.

— Это же война, на ней чаще бывает поздно.

Через два дня фашисты предприняли несколько атак на высоту 66.3. Обороняла ее соседняя рота. Она мужественно сражалась, но все-таки ей пришлось отойти на старые позиции: силы были неравные. Капитан Никифоров ходил мрачнее тучи. Его не радовало выдвижение на должность начальника штаба батальона, происшедшее после боя 16 февраля. Встретил он свое повышение спокойно, даже равнодушно. Он очень переживал, что высоту, за которую столько бойцов легло, снова захватил враг. И, как бы между прочим, сказал: «И наградные ваши поэтому задержаны».

Трудным был первый год войны. Навсегда до мельчайших подробностей, до деталей остались в памяти его бои. После них было много других, но те, первые, запечатлелись в памяти особенно. За них нас тогда не благодарили. И если уже в ту пору украсила медаль «За отвагу» или «За боевые заслуги» грудь счастливого бойца, то воспринималась она нами, как

ныне не воспринимается и целый иконостас наград. Но мы и не ждали их. Жили и сражались с одной думой: «была бы страна родная...»

Да, в памяти нашей завязаны такие узелки, которые не забылись за десятилетия.

Много лет спустя я заглянул в подшивки газет военного времени. Захотелось, неторопливо листая их, как бы вновь окунуться в те далекие годы, разбудить задремавшие чувства и вызвать к жизни стершиеся дни календаря. Захотелось узнать, чем был отмечен фронтовой понедельник 16 февраля 1942 года.

В тот день Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя Советского Союза.

На экраны столицы вышел новый документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»...

И много других событий, различных по значимости, летописных по духу, тех, что педантично регистрируют пульс общественной жизни.

Среди них было и то, что вызвало небольшое удивление и легкую грусть: «Горьковская коммуна» сообщала, что 16 февраля в родной школе состоялся традиционный вечер ее воспитанников. На нем были и мои одноклассники, не знавшие о тех суровых часах, которые выдались роте 346-го горнострелкового полка.

Ни в одной сводке Совинформбюро не было сообщений об этом бое. Он остался безвестным, как тысячи тысяч других фронтовых боев.

Это был будничный день войны, который запомнился мне тем, что в тот день я впервые ходил в разведку, впервые участвовал в таком жестоком бою, где был впервые ранен, в бою, после которого меня приняли кандидатом в члены партии. В тот день мы добились успеха, успеха местного значения. Не так уж много было их у нас в начале 1942 года на Керченском полуострове.



НАСТУПЛЕНИЕ

Когда в часть прибывали скудные запасы продовольствия, фронтовые повара спешили сотворить «чудеса». Из одной ржаной муки на ротной кухне делались: заварная болтанка с галушками, каша-размазня, оладьи...

Меню становилось роскошным, если мина противника угождала в конную артиллерийскую упряжку соседней батареи. В котелках появлялось тогда мясо.

Мы усаживались в балке. Обжигаясь, уничтожали скудный фронтовой рацион. Торопились съесть его горячим, не потеряв ни единой калории.

На всю жизнь я запомнил, как докладывал комиссару Мартынову в присутствии начальника Главного политического управления РККА о том, как накормлены солдаты перед боем. Л. З. Мехлис стоял усталый и суровый, одетый в красноармейскую шинель, и только четыре ромба да звездочка в петлице свидетельствовали о его очень высоком звании.

— Молодцы, хорошо заботитесь о людях... — сказал он.

А я, предельно довольный похвалой начальства, даже в ту минуту не смог не подумать: «Знали бы вы, товарищ армейский комиссар первого ранга, что за дровами-то мы через минное поле ходили».

Однажды комиссар полка, вызвав нас, политработников, с радостью сообщил, что по случаю XXIV годовщины Красной Армии в Керчь для бойцов Крымского фронта пришло много подарков.

Только из Грузии прибыло: 40 тонн мяса, более 72 тонн ветчины и колбасы, 12 тысяч тушек птицы, 9 тонн сыра, больше тонны топленого масла, 129 тысяч декалитров вина, 27 тонн яблок, 18 тонн цитрусовых, 12 тонн орехов, большое количество меда, папирос, табака и больше 9 тысяч личных посылок.

Посылки трудящихся шли из разных мест страны. Мне, помню, достался кисет с очень хорошим, необыкновенно душистым табаком.

В кисете было письмо от колхозницы-азербайджанки:

«Дорогой мой сыне. Посылаю тебе к празднику ки-

сет — кури из него на здоровье. Может, в твоей роте служит и мой Ильяс. Угости его и скажи, что мать его беспокоится о всей Красной Армии, как о своих родных детях.

Бейте шибче фашистов!

Гоните скорее их с нашей земли!»

Внизу стояла неразборчивая кривая подпись другим почерком, видно, неграмотной была мать Ильяса.

Было приятно, тепло от этого простого, бесхитростного письма. Я ходил по землянкам, читал его бойцам, угощал табачком.

Нас поздравляли и в коллективных письмах. В них выражалась любовь к нашей армии, рассказывалось о помощи фронту, содержались призывы к воинам самоотверженно сражаться с врагом.

«Дорогие товарищи! Передаем вам пламенный привет от трудящихся Кизлярского округа и сердечное поздравление в связи с исполнившейся XXIV годовщиной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Вы можете по праву гордиться своими женами, сестрами и матерями, товарищи бойцы. Это они готовят для вас тулупы, носки, варежки, шапки. Это их руками подготовлены тысячи продовольственных подарков для фронтовиков.

Мужественные воины! Богатыри земли советской! Смело идите в сражение за честь, свободу, независимость нашей Родины!.. Вперед на бой, друзья и братья, на правый бой, великий бой!..»

Письма тружеников тыла имели большое воспитательное значение, и мы, политработники, старались доводить их до каждого воина.

Письмо трудящихся Орджоникидзевского края мы также читали по всем землянкам.

«Товарищи бойцы, командиры и политработники Крымского фронта!

От имени трудящихся Орджоникидзевского края горячо поздравляем вас с XXIV годовщиной героической Красной Армии, — говорилось в нем. — Посылаем вам наши скромные подарки. Примите их в знак неиссякаемой любви народа к славным советским воинам.

С радостью сообщаем вам, что трудящиеся края непрестанно готовят пополнения для родной Красной Армии. Недавно мы отправили на фронт два больших добровольческих отряда. Заканчивается формирование



«Коммунисты, вперед!»

Контратака. Крымский фронт май 1942 года.

Расчет крупнокалиберного пулемета ведет огонь по немецким самолетам. Южный фронт, июль 1942 года.



Минометчики ведут огонь по гитлеровцам.

Коммунисты батальона обсуждают свои задачи. Полуостров Рыбачий, Северный оборонительный район, 1942 год.



Младший политрук Н. В. Трущенко. 1942 год.

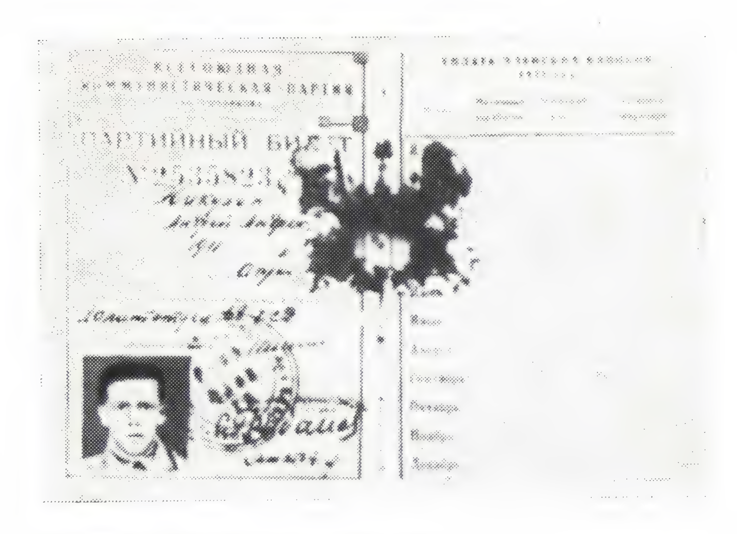
Политработник П. М. Зверьков ведет передачу для немецких солдат. Калининский фронт, лето 1942 года.



Контратака. Сталинградский фронт, лето 1942 года.

Они стояли насмерть.

Комсомольское собрание батальона 33-й Могилевской Краснознаменной мото-инженерной бригады. 2-й Белорусский фронт.



ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

Партийный билет А. А. Никулина, пробитый вражеской пулей.

Пехота при поддержке танков ведет наступление. Западный фронт, лето 1942 года.



На водном рубеже.

Привал.



Жертва войны.

В атаку.



Десант.

Переправа...



Бой на улице Берлина.



Победа.





новой добровольческой кавалерийской части. В ряды доблестных бойцов вливается также добровольческая часть из бывших красных партизан и красногвардейцев. Добротное обмундирование, хорошее снаряжение и вооружение, боевые кони — все приобретено на отчисления трудящихся и подготовлено их руками.

Колхозники нашего края деятельно борются за то, чтобы в изобилии обеспечить фронт и страну продуктами сельского хозяйства и сырьем для промышленности. Уже полностью засыпаны семена для весеннего сева, заканчивается ремонт гракторов. Свыше 10 000 женщин-трактористок будут водить в этом году стальных коней по полям Ставрополья.

Дорогие товарищи, бойцы, командиры и политработники! Мы уверены в том, что вы будете героически сражаться с фашистским зверьем...

Обнимаем и целуем вас, наши дорогие, родные и мужественные воины! Желаем вам новых побед!

От имени трудящихся края:
секретарь Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) М. Суслов, зам. председателя исполкома крайсовета депутатов трудящихся А. Баранов, секретарь крайкома ВЛКСМ В. Якусаров».

Обсуждение таких писем превратилось в демонстрацию патриотизма, единства армии и народа, дружбы между воинами различных национальностей.

Каждое наступление, каждый бой необходимо подготовить не только материально, но и морально. И письма тыла помогали укреплять моральный дух войск, поднимали в солдатах волну святых чувств.

Все мы жили ожиданием большого повсеместного наступления наших войск. И вот накануне 27 февраля 1942 года по ротам зачитали приказ о наступлении на участке Крымского фронта.

Подъем он вызвал необычайный. Бойцы еще и еще раз проверяли исправность карабинов, пулеметов, минометов, набивали подсумки патронами.

Важное место в партийно-политической работе занимало повышение боевой выучки воинов, особенно новобранцев. В роте, куда меня перевели политруком за два дня до наступления, их было немало.

Со всеми еще как следует не успел познакомиться, но, заметив у одного из них пренебрежительное отношение к лопатке — «лишний груз по бедру бьет», — провел с необстрелянными солдатами беседу о важности самоокапывания. Перед ними также выступил приглашенный мною сержант Привалов. Он прошел финскую, много знал солдатской премудрости и мог убедительно говорить.

— В лежащего бойца, — сказал он, — пули и осколки в пять раз меньше попадают, чем в стоящего. А в того, кто умело окопался, запомните, в двадцать пять раз меньше!

Для пехотинца на фронте чудес не бывает. Статистики подсчитали, что плотность пехотного огня в момент атаки батальона составляет в одну минуту 14 пуль и 63 осколка на 1 погонный метр фронта. Этот чисто математический подсчет требует поправки. Атака не ведется равномерно по всему фронту, значит, плотность огня где-то сгущается, и приведенные расчеты меняются не в пользу наступающего. Поэтому для пехотинца очень важно умение делать перебежки.

Новобранцы, как правило, прекрасно знали, как это делать, — теоретически. Что вначале надо выбрать путь, по которому побежишь, потом наметить место приземления и только тогда быстро вскочить, пулей бежать, камнем упасть.

Известно, опытный снайпер на меткий выстрел тратит секунд шесть. Отсюда вывод — бойцу следует бежать не более пяти секунд. Но не каждый новобранец обладал чувством времени, и мы обучали их этому.

Помню еще, как старшина Андрианов из Чувашии рассказал новобранцам о том, как пользоваться «шмайсером» — немецким пистолетом-пулеметом.

— Зачем это изучать, спрашиваете? — говорил он. — Да этот «шмай» в прошлом бою мне здорово помог... Вообще, ребята, на фронте все надо уметь делать. В совершенстве своим и немецким оружием владеть. От этого не только твоя жизнь зависит, но и моя, его...

В ночь мы вышли на исходные позиции. Когда рассвело, раздался шум моторов. Шли наши танки.

Я достал и пустил по цепи несколько сохранившихся у меня листовок с рассказом о подвиге героя оборо-

ны Севастополя Алексея Калюжного. Там приводилась его предсмертная записка: «Родина моя, земля русская! Я, сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим... Клятву воина я сдержал».

— Первый взвод, вперед! — закричал командир роты Смирнов.

— Второй взвод, вперед!

Началось наступление войск Крымского фронта с Керченского полуострова в направлении Карасубазар.

Мы бежали по следу танков, скрываясь за ними от прямого огня противника. Уже в первые минуты атаки было видно, как некоторые бойцы с ходу неловко оседали на землю.

Пробежав сотню метров по раскисшей пашне — с утра пошел дождь, — мы наткнулись на мощное минное поле противника. Он перехитрил нас и вновь выстлал минами все проходы, сделанные в заграждении нашими саперами за ночь.

Спасаясь от шквального огня противника, цепи взводов залегли. Красноармейцы спешно окапывались.

Смирнов лежал на пашне вниз лицом. Все тело командира роты было изрешечено пулями.

В этом бою мне пришлось принять на себя командование не только этой ротой, но и ротой капитана Никифорова: подползший ко мне связной доложил, что командир, политрук и замполит там убиты.

Секунды колебаний, и все отошло далеко: и нерешительность, и незнание, что делать, и усталость от изнурительного боя: физическая — от прилипающей грязи (больше десяти метров не пробежишь), моральная — от обстрела, который угнетает чувства и волю.

Я ощутил необыкновенный прилив сил, осознав огромную ответственность, которую беру на себя, принимая командование людьми. Казалось, что еще рывок, ну два, три, и до немецкой траншеи долетит граната. Главное — хладнокровие и мужество. На тебя смотрят две роты. Уверенность и бодрость ты должен вселять в бойцов. Как только утихнет обстрел, ты должен поднять их в стремительную атаку, крикнуть: «Коммунисты, вперед! За мной!»

Я верил в победу...

Чувства опасности, страха не было. Такое бывает всегда, когда четко знаешь, что нужно делать, как нужно делать.

Боевые порядки могут расстроиться при прорыве переднего края. Надо предупредить всех: как войдем в окопы — наступать берегом моря, в обход второй линии обороны...

Тут, оглянувшись, я увидел, как несколько легкораненых направилось в тыл.

Нет ничего страшнее, когда на глазах сражающейся роты кто-то покидает поле боя.

Наступил опасный момент.

«В каждом сражении бывает момент, когда самые храбрые солдаты после величайшего напряжения чувствуют желание бежать, эта паника порождается отсутствием доверия к своему мужеству; ничтожного случая, какого-нибудь предлога достаточно, чтобы вернуть им это доверие; высокое искусство состоит в том, чтобы создавать их». Этих слов из книги Наполеона «Мысли», выписанных В. И. Лениным, тогда мне еще не приходилось читать, но я понимал опасность момента. Понимал, что поднять сейчас бойцов в атаку можно только личным примером командира...

Жестоким для меня стал тот день. С перебитой ногой я вместе с другими ранеными лежал на пашне в самой гуще боя. Рядом со мной проходили танки, рвались мины и смертельным роем свистели пули. Временами, встречаясь с преградой, они издавали звук, схожий с хлопком разбившейся электрической лампочки, догадывался — разрывные.

Непрерывно теряя сознание и снова приходя в себя, я лежал уже несколько часов. Постепенно бой стал удаляться в сторону, оставив тяжелораненых в тишине и покое.

Санитаров поблизости не было. Слабея от потери крови, я медленно полз в тыл наугад — в противоположную от огня сторону. В какой-то момент черный непроницаемый занавес внезапно вырос перед глазами и накрыл меня. Потом на мгновение мрак сменился ослепительно ярким светом, и я, увлекаемый какой-то силой, полетел в бесконечную пропасть...

Очнулся от тяжелых капель дождя, ударявших по

лицу. Они били долго и назойливо, но не было сил ни повернуться, ни прикрыть лицо хотя бы широкой армейской рукавичкой.

— Са-ни-та-ар!

Я кричал. Или мне это только казалось. Обессилевший от натужного хрипа, снова впадал в забытье.

Потом была ночь, тихая, с ласковым морским ветерком. Последняя ночь февраля. Надо мной проносились пунктиры трассирующих пуль — то красные, то зеленые, то линией, то огромным, вполнеба, веером. Осветительные ракеты играли зловещими отблесками в редких, низко плывущих, косматых облаках. По тому, как слышны были хлопки ракетницы, понял, немцы где-то близко, почти рядом, что лежу, возможно, на нейтральной полосе, с которой выбираться надо самому. Но как, если распухшей ногой ни пошевелить, ни двинуть; непонятно почему, сильно горела спина. Ко всему невообразимый гул в голове, а угнетающая слабость рождала апатию. Я догадывался: контужен и, видимо, еще раз ранен.

Попробовал двигаться. Но тут же начинала кружиться голова, терялось сознание.

Очнулся уже днем. Кто-то прикрыл меня с головой плащ-палаткой. Под ней было теплее. Лежал в дремоте, но слышал шаги и знакомые голоса. Не видел — угадывал, как идущие остановились, склонились надо мной, приоткрыли лицо, и откуда-то издалека раздался изумленный голос однокашника по училищу, тамбовского парня, замполита Пономарева:

— Товарищ батальонный комиссар, да это же... Николай, ты жив? Жив, Николай?..

Я лежал, не открывая глаз, не издавая ни звука даже тогда, когда услышал приговор:

— Убит...

Меня забирала глупая досада на то, что вот я уже и тяжело ранен, лежу неподвижный... Они же здоровые, полные сил, ходят по району боя, кого-то ищут, кого-то находят, забирают документы и медальоны с домашними адресами. Потом в землянке скупыми и суровыми словами составят боевое донесение, и... военкомат пришлет домой похоронку.

«А может быть, я действительно неживой?» От этой мысли апатия молниеносно сменилась острой боязнью быть похороненным заживо; я задвигал ногой и почув-

ствовал в ней невыносимую боль, ощутил, как по-прежнему жжет спину... Прислушиваясь к тревожным ударам сердца, я дрожал в радостном ознобе — боль означала жизнь! «Не сдамся! Не сдамся!» И, собрав силы, снова кричал:

— Санитары!!!

Они подобрали меня только через трое суток...

В день, когда началось наступление, генерал-полковник Ф. Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта, в своем служебном дневнике записал:

«27 февраля 1942 года. 251-й день войны.

Началось наступление противника в Крыму. На Керченском направлении противник, нанося удар по нашему северному флангу... добился успеха. Готовится контрудар».

В вечернем сообщении Совинформбюро говорилось:

«В течение 27 февраля наши войска после упорных боев с противником на разных участках фронта заняли несколько населенных пунктов».

Разноголосый шум витал над лежащими вповалку людьми. В душном трюме мятущиеся в бреду раненые, срывая повязки с ран, продолжали лихорадочно командовать батареями, биться врукопашную, звать на помощь матерей и жен.

Приходя в сознание, мы тянулись за пачкой «Беломора». Ганна, юная медицинская сестра, подавая раненым то воду, то огонек, чтобы прикурить, обессилевшая от суматохи и духоты, незлобиво покрикивала:

— Та нэ курите же, товарищи бойцы, вам же самим дыхать нечем буде!

А мы нервно курили. Вздрагивали при каждом толчке судна, метавшегося в штормовом море, ожидая, что вот-вот нарвемся на мину. Обессилевшие, снова впадали в забытье.

В Новороссийске на разгрузку суденышка явилась команда из работниц холодильника и школьниц.

В ожидании автобусов мы лежали на носилках, расставленных вдоль пирса, когда на порт налетели фашистские бомбардировщики. Город сотрясали взрывы.

Где-то рядом хлопали зенитки и падали осколки их снарядов. Корабли спешили выбраться из бухты в открытое море. Отвалил и наш. Я увидел, как на палубе появилась Ганна с корзинкой стираного белья. Вот она посмотрела в небо, покачала головой и поспешила на ют. Уже за гаванью в море транспорт вдруг вздрогнул, и на его месте поднялась завеса черного дыма...

Госпиталь с работниками, задыхавшимися от ежедневного поступления раненых, был расположен в районе усиленной бомбардировки противника. Те же женщины с холодильника и школьники ухаживали за нами, меняли компрессы на воспаленные лбы, нежно гладили руки, шептали участливо: «Родненькие вы наши...» От их прикосновений и ласковых слов становилось легче.

Раненые лежали всюду: в палатах на койках и между ними, в коридорах на носилках, на полу. При очередном налете вражеской авиации в госпитале по вечерам гасили свет. Тогда из ординаторской выбегала врач Анна Ивановна. Поверх белого халатика на ее миниатюрной фигурке болталась огромная кобура с револьвером. Казалось, все: и не бывший в боевом расписании допотопный револьвер, и рдевшее от волнения красивое лицо доктора, и близкие разрывы авиабомб, и мы, опутанные окровавленными бинтами, настороженно приподнявшиеся на носилках, — подчеркивало картину органической несовместимости маленькой женщины с грозным оружием.

Звенели разбитые стекла. На наши головы сыпалась штукатурка, ходуном ходили пол, потолок, стены. Громче обычного стонали раненые, некоторые истерично требовали немедленной эвакуации в глубокий тыл. Маленький врач со свечкой в руках мужественно проходила по коридорам.

— Товарищи командиры и бойцы! — она старалась говорить солидно. — Успокойтесь. Сейчас налет прекратится. Уже приняты меры.

Вид храброго доктора заставлял нас подтянуться.

Однажды палату заполнили прекрасные, величественные звуки. Мы затихли, очарованные, даже тяжелораненые перестали стонать. Потом в мелодию ворвалась тревога: посвист флейты и приглушенная барабанная дробь в примитивном пошленьком марше. «Как фашисты идут...» — сказал кто-то тихо. На него шик-

нули. А банальный мотивчик разрастался, и уже не дробь вдали, а удары большого барабана гремели по всему оркестру. Буря вдруг стихла, и после паузы поплыла полная глубокой печали мелодия фагота, это была печаль о погибших в священной борьбе за Родину.

Слушал Седьмую симфонию Шостаковича, а слышал бой. Свой последний бой, короткий, жестокий.

...Хлопали пушки, слезились глаза, от взрывов болели перепонки, а в ушах слышалась лирическая мелодия грусти и нежности.

Мы стреляли. Разрывы снарядов и мин сотрясали землю по всей округе, но печальная песня скрипок и фагота неотступно витала в дымном воздухе. Громовые раскаты боя оказались не в силах одолеть ее.

Так я впервые ощутил силу подлинной музыки.

Об этом я написал Шостаковичу тут же из госпиталя, прочитав сообщение о присуждении Дмитрию Дмитриевичу Государственной премии. Написал (прямо в Ленинград, как чеховский Ванька Жуков «на деревню дедушке») о том, как его симфония потрясла нас, фронтовиков, своей проникновенной человечностью, утверждением чистых и светлых чувств; что эта симфония преисполнена веры в победу и воспитывает мужество.

«Мужество — добродетель. Мужество — высшая ступень человеческого сознания, как любовь и как мудрость». Эти слова я выписал в свою записную книжку из «Красной звезды». Их я не раз приводил в землянках в беседах о мужестве.

Мужество от рождения не дается: это явление не биологическое, а социальное. Мужество советских воинов обусловливалось социалистическим общественным строем, советским образом жизни. Мужество как высшая ступень человеческого сознания являлось результатом огромной целенаправленной воспитательной работы Коммунистической партии, командиров, политорганов, партийных и комсомольских организаций.

В годы войны на нас воздействовали многие факторы. Мужественными делал и суровый приказ Народного Комиссара Обороны № 227 от 28 июля 1942 года.

Вот с какими словами обратился к нам нарком:

«...после потери Украины, Белоруссии, Прибалтики,

Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год.

У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...»

«Ни шагу назад! — говорил фронтовикам нарком. — ...Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

Скупыми и грозными были и другие строки приказа. Много размышлений порождал он. Приказ требовал защищать каждый клочок нашей земли. Мало сражаться за Отчизну, надо делать это до последней возможности. Сознание смертельной опасности, нависшей над страной, требовало от каждого ее защитника невиданного доселе мужества.

Слова из этого документа «Ни шагу назад!» — не лозунг из листовки с обращением к воинам. Это слова из приказа, а приказ положено выполнять беспрекословно. Наступило такое время, когда каждый воин должен был почувствовать себя словно отлитым из стали и быть способным к самопожертвованию.

1 августа 1942 года газета «Красная звезда» вышла с передовицей «Упорно защищать каждую позицию», с суровыми словами, глубоко западавшими в сердца воинов: «Красная Армия не имеет больше права отступать. История и народ не простят ей дальнейшего отхода перед врагом».

Вот как это восприняли фронтовики.

Третий день кровопролитный бой. В перерывах между лобовыми атаками немцы засыпали гребень сопки минами и снарядами. Потери росли. Теперь сопку защищали двадцать бойцов. У них кончались патроны, иссякали силы. Командир был убит. В трудную минуту один из неустойчивых бойцов сказал:

— Не лучше ли оставить сопку и отойти на другую? Позади сотни сопок. Стоит ли погибать из-за одной?

— Стоит! — воскликнул боец-коммунист Ковалев-

ский. — У нас много сопок, но мы не имеем права отступать. Друзья! Кто любит Родину, тот не отдаст безымянную сопку врагу, тот не сделает ни шагу назад! Эта сопка — это наша Родина.

Уставшие, измотанные непрерывными боями, солдаты ринулись сквозь огонь вперед и отбросили фашистов. Их вели на врага коммунисты Ковалевский и Курыгин.

После этого боя мы продвинулись вперед и отбили у гитлеровцев еще несколько сопок.

Майор Николаев, помощник начальника политотдела 62-й армии (в основном она была укомплектована молодыми воинами, многие ее подразделения почти целиком состояли из коммунистов и комсомольцев), сохранил протокол собрания одной из рот, сражавшихся в районе Сенного рынка в пригороде Сталинграда. Ныне этот протокол стал хрестоматийным:

«*Слушали:* О поведении комсомольцев в бою.

Постановили: В окопе лучше умереть, но не уйти с позором. И не только самому не уйти, но сделать так, чтобы и сосед не ушел.

Вопрос к докладчику: Существуют ли уважительные причины ухода с огневой позиции?

Ответ: Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть.

Ввиду начавшейся 12-й за день контратаки немцев докладчик от заключительного слова отказался».

В конце собрания для справки слово взял командир роты. Он сказал:

— Я должен внести некоторую ясность в выступление комсорга. Он много говорил здесь о смерти и сказал, что Родина требует от нас смерти во имя победы. Он, конечно, неточно выразился. Родина требует от нас победы, а не смерти. Да, кое-кто не вернется живым с поля боя — на то и война. Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив.

Сильное впечатление произвел на фронтовиков этот протокол. Вот так воспитывалось среди солдат презрение к смерти.

Мужеству мы учились и у своих сверстников, и у представителей старшего поколения — участников гражданской войны, создававших нравственные устои

воина Рабоче-Крестьянской Армии, защитника Советской власти.

Когда Зою Космодемьянскую, схваченную гитлеровцами в селе Петрищеве, фашистский офицер спросил на допросе, как ее зовут, она ответила:

— Таня.

Комсомолка назвалась именем своей любимой героини из времен гражданской войны — Татьяны Григорьевны Соломахи.

Рассказывают, что не было у Тани ни физической силы, ни громкого голоса. Знали ее маленькой, худенькой девушкой с нежным лицом и застенчивой улыбкой, а боялись Соломаху как огня атаманы и белогвардейские офицеры. Девушка-учительница повела население многих станиц и хуторов на борьбу за свободу. Героиню схватили белогвардейцы, долго зверски мучили и избивали, а она воскликнула:

— Можете убить меня, а Советы будут жить!

И улыбнулась, ибо знала, что смертью своей поднимет еще многих людей на борьбу за человеческое счастье.

Коммунистка из станицы Попутная Краснодарского края, отдавшая жизнь за революцию и Советскую власть, подвигом, смертью своей заронила в сердце московской комсомолки зерна несгибаемого мужества и стойкости. И еще одна деталь. Ровно за год до казни Зоя встретилась в доме отдыха «Сокольники» с Аркадием Гайдаром. «Страшно ли умереть в бою?» — спросила она. Гайдар ответил: «Наверное, если знаешь, за что умираешь, то не страшно». Теперь, когда путь, пройденный Зоей от классной скамьи до эшафота в Петрищеве, постепенно восстановлен по дням и часам, весь мир знает и предсмертные слова отважной девушки. Люди, пытающиеся проникнуть в истоки ее подвига, видят также, что Зоя, поднявшаяся на высшую ступень патриотизма и морального величия, впитала в себя лучшие чувства, выработанные нашим народом в его историческом развитии.

По возрасту боец в буденовке, которого мы знали из песен, книг и кинофильмов о гражданской войне, казался нам далеким. По идее — родным и донельзя близким. Он создавал между революционерами-подпольщиками — Заломовыми, Невзоровыми, Наримановыми, а потом — героями гражданской и нами то органическое

звено, которое делало нерушимой преемственность поколений борцов.

Это рождало и преемственность подвигов.

25 июня 1919 года одна из частей молодой Красной Армии, развивая наступление, натолкнулась на упорное сопротивление белогвардейцев, засевших в деревне Керстово. Подходы к ней преграждала сильно укрепленная огневая точка врага. Вражеский пулемет поливал свинцом красноармейские позиции, а сам оставался неуязвимым. Наконец боец Пелевин, изучив подходы к огневой точке противника, стал забрасывать ее гранатами. Красноармейцы ринулись в атаку. Но пулемет продолжал действовать. Те, кто был еще в окопах, следили за своим товарищем и видели: Пелевин, тяжело раненный, лежал близ врага. Но когда пулемет ожил, комсомолец, приподнявшись, бросил в противника оставшуюся гранату, а затем, напрягая последние силы, рванулся и телом своим закрыл амбразуру пулеметного гнезда противника. Потом через два десятилетия этот подвиг повторили Александр Панкратов, Александр Матросов и другие воины.

Не в простом самоотрешении, не только в самопожертвовании заключаются истоки мужества. Фронтовики, проходя суровую школу войны, конечно же, воспитывали у себя презрение к смерти. Но на жестоких примерах войны приходили к выводу, что оно не тождественно неуемному бахвальству или картинной браваде.

Велико воспитательное значение советской литературы и журналистики периода Великой Отечественной войны. Сердца защитников Родины завоевывали страстные политические памфлеты и злые фельетоны Ильи Эренбурга, которые публиковались в «Красной звезде» почти ежедневно и залп за залпом все четыре года били по фашистам.

Самые глубокие чувства возбуждали в нас фронтовые очерки и лирические стихи Константина Симонова. В 1942 году он был удостоен Государственной премии. «Певцом боевой молодости» назвал его тогда Н. Тихонов. И сам Симонов, высокий и плечистый, со смуглым обветренным лицом и задумчивыми глазами, был похож на своих героев. «Слово Симонова, — писал Тихонов, — сразу же нашло читателя — друга, современника, ибо сам Симонов — сын века, он чувствует движение времени, он не стоит в стороне от схватки, а участвует в

ней непосредственно. Когда нужно было, поэт в рядах бойцов шел в атаку на Арабатской стрелке в Крыму, вместе с дальними разведчиками проникал в глубокий тыл врага на Севере, на подводной лодке плавал к берегам Румынии». И все это в 1942 году.

Мы вновь и вновь обращались к образу Павки Корчагина. Он стал правофланговым в строю фронтовиков. Бескомпромиссный, правдивый Павка очень нужен был нам. В конце первого года войны исполнилось пять лет со дня смерти Николая Островского. Но бригадный комиссар Островский оставался среди нас, а в бессмертных подвигах советских патриотов мы узнавали корчагинские черты. В ледяных окопах мы вслух читали солдатам книгу статей и речей писателя: «Жизнь старалась сломить меня, выбить из строя, а я говорил «не сдамся», ибо я верил в победу».

Трудно переоценить значение статей и выступлений М. И. Калинина.

В годы войны он часто встречался с комсомольскими работниками. «Геройства, мужества, стойкости в нашем народе столько, что нет оснований что-то создавать искусственно, что-то рекламировать, — говорил Михаил Иванович на совещании секретарей обкомов комсомола по пропаганде в сентябре 1942 года, — достаточно только брать материал из жизни народа, армии и говорить с чувством полного сознания о тех трудностях, которые несет народ, и о необходимости во что бы то ни стало побить врага». Вырезки из газет и журналов со статьями М. И. Калинина, М. А. Шолохова, Леонида Леонова, Всеволода Вишневского мы, политработники, хранили в полевой сумке, офицерском планшете, в нагрудном кармане шинели.

В госпитале по радио я ловил тревожные сводки Информбюро об упорных боях на Керченском полуострове:

«В течение 11 мая на Керченском полуострове наши войска вели упорные бои с перешедшими в наступление немецко-фашистскими войсками»;

«В течение 13 мая... наши войска ввиду превосходства сил противника отошли на новые позиции»;

«В течение ночи на 14 мая... продолжались ожесточенные бои».

23 мая в вечернем сообщении говорилось: «По приказу Советского Главного Командования наши войска оставили Керченский полуостров. Войска и материальная часть эвакуированы...»

В краткой истории Великой Отечественной войны Советского Союза по этому поводу говорится следующее:

«К лету 1942 г. сильно осложнилось положение советских войск в Крыму — в районе Севастополя и особенно на Керченском полуострове. После неудачных попыток предпринять решительное наступление войска Крымского фронта еще в апреле перешли к обороне. Ставка указала командованию фронта, что задача освобождения Крыма остается в силе и что, готовясь к ее осуществлению, надо одновременно создать прочную оборону. Однако это указание не было выполнено. Главная полоса обороны шириной 27 км не имела необходимой глубины. Вторая полоса была создана лишь на правом фланге.

Все силы фронта — 47, 51 и 44-я армии (21-я дивизия) — были растянуты в одну линию. Дивизии имели плотные боевые порядки. Небольшие резервы и пункты управления размещались вблизи переднего края и в случае наступления противника неизбежно попадали под удары вражеской артиллерии и авиации. Несмотря на достаточные огневые средства (3580 орудий и минометов, 350 танков и 400 самолетов), артиллерийские противотанковые резервы не были созданы. Не принимались меры маскировки и противовоздушной оборонь войск и особенно штабов. В результате фронт оказался не подготовленным к отражению наступления врага».

ВПЕРЕД,
НА ЗАПАД



СНОВА В СТРОЮ

Тяжелыми днями закончилось для меня пребывание на Керченском полуострове: три ранения и контузия, в итоге инвалидность и увольнение из Красной Армии. После долгого лечения в госпиталях я вернулся в родной город, когда одноклассники получали свидетельства об окончании школы. Трудно было смириться с собственной неполноценностью, глядя на них, готовившихся в институты или отправлявшихся на учебу в военные училища. Тяжело было слушать известия о сдаче Керчи, Ростова... Бои шли теперь в Сталинграде и у Главного Кавказского хребта, а ты уже «отвоевался» и эвакопункт направил тебя политруком госпиталя.

«Отвоевался». Не было для меня более удручающего слова. Целыми днями тренировал я омертвевшую стопу ноги. На медкомиссии врачи сказали кратко:

— Инвалидность пожизненная: перанеус...

— Что это еще за перанеус? — спросил я сердито.

— Паралич малоберцового нерва. Стопа останется неподвижной...

Дал же я этому перанеусу жизни, возвратясь домой! Целыми днями вхолостую крутил больной, лишенной чувствительности ногой педаль зингеровской швейной машины. Изо дня в день, несколько месяцев кряду. Бросил костыли, как только в состоянии был ступить на ватную, постоянно куда-то выскользавшую из-под меня ногу, и, шатаясь, ходил по городу, презрев все виды транспорта. В один из дней стопу «закололи мурашки», что испытывает человек, встав на отекшую от долгого сидения ногу. Это была первая победа!

Врачи недоумевали:

— Но ведь у вас классический перанеус?

И подозрительно смотрели на меня: не морочил ли я им голову раньше. Но стопа по-прежнему висела, как в случае, описанном в учебнике.

— Черт знает что происходит в эту войну, — ворчал главный хирург госпиталя, в котором я служил. — Впору все книги переписывать заново...

Забегая вперед скажу, что мы действительно опровергали учебники. Возвращались в строй после таких

ранений и контузий, последствия которых в иной обстановке потребовали бы многолетнего лечения. Я никогда не затронул бы этой темы, если бы в 1945 году сам (во второй уже раз) не был уволен из Красной Армии — теперь как инвалид первой группы — абсолютно недееспособный человек... Случай с ногой убедил меня в том, что человек все может, в его организме заложена колоссальная жизненная потенция, а в натуре — неиссякаемый заряд оптимизма.

— Человек все может, если захочет. Может! Может!..

Я часами исступленно крутил педаль зингеровской машины и в радостном ознобе регистрировал, как с каждой неделей ноге возвращалась чувствительность. С нею появились шансы и на возвращение в строй.

Оно было трудным, и на сей раз не в пехоту, а в артиллерию, и не политработником, а строевым офицером. Но с комсомолом не расстался, оставаясь в активе выборных и назначаемых комсомольских органов.

Вернулся я в армию, когда она стремительно развивала наступление в начале 1943 года.

К весне 1943 года в жизни партийных и комсомольских организаций Красной Армии произошли существенные изменения. Центральный Комитет партии принял решение изменить их структуру. Они значительно окрепли. По сравнению с началом войны партийные организации выросли в несколько раз и объединяли два с половиной миллиона коммунистов.

Усилили помощь коммунистам в решении боевых задач и комсомольцы. «Комсомол — боевой помощник КПСС». Этим подчеркивается его постоянная готовность выполнить любые задания партии.

Когда слышит фронтовик эту фразу, он вспоминает, как велика была комсомольская прослойка среди молодых воинов. Вдумайтесь только в значение следующих цифр. К апрелю 1943 года по комсомольским мобилизациям в Вооруженные Силы вступило свыше полумиллиона юношей и девушек, или более двух третей призванных за всю войну. Я представляю себе секретарей райкомов ВЛКСМ, сдерживавших натиск пятисот тысяч парней и девчат, рвавшихся на фронт с тем же упорством, с которым летом 1941 года действовали мы.

А сами секретари комсомольских комитетов, как они вели себя в то время? Только много лет спустя после войны я получил на это ответ: на фронт ушла третья часть всех секретарей ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов комсомола, свыше 66 тысяч секретарей первичных комсомольских организаций.

Да, в слово «боевой» фронтовики вкладывали свой смысл: подобно Коммунистической партии, пославшей на фронт более половины своего состава, Ленинский комсомол был в полном смысле сражающейся, воюющей организацией: 73 специальных мобилизации комсомольцев и молодежи провел ЦК ВЛКСМ. Около 11 миллионов комсомольцев сражались с врагом в рядах Советских Вооруженных Сил на фронтах Великой Отечественной войны.

После упразднения осенью 1942 года института военных комиссаров многие из нас, политработников, переквалифицировались и стали командирами различных звеньев армии. Всего за время войны более 150 тысяч политработников были переведены на командные должности. При этом введение полного единоначалия не привело к принижению политработы в частях. Навыки, любовь и привязанность к партийной и комсомольской деятельности у нас сохранились. Обогащенные опытом политического воспитания воинов, знанием боевой жизни, мы составили хорошее пополнение корпуса строевых офицеров.

С конца 1942-го и весь 1943 год усиление идейно-политической работы в массах происходило в условиях широкого наступления Красной Армии. Весь мир увидел мощь Советского Союза. То, что грезилось нам в самые трудные минуты первых двух лет войны, свершилось. Наступление стало нормой наших сражений.

В этой обстановке фронтовая жизнь изменялась быстро. Наступление потребовало от политработников поиска новых приемов политико-воспитательной работы. Прежде всего мы уяснили, что планировать комсомольскую работу на длительный срок стало нецелесообразно. Приспосабливаясь к новым условиям, составляли теперь короткие оперативные планы-наметки на период выполнения той или иной боевой задачи; чаще всего на два-три дня.

Даже в редкие минуты фронтового затишья на переднем крае нельзя созвать всех комсомольцев крупного подразделения. А во время наступления? Вместо общих собраний первичной комсомольской организации обычно созывались делегатские совещания.

Делегатские совещания... Незабываемое свидетельство непрерываемой в любых условиях комсомольской работы. Бойцы и командиры сходились на них с оружием, в полной боевой выкладке и готовые в любую минуту вступить в сражение с противником. Собирались они накоротке. Преимущественно поздно вечером, ночью, где-нибудь в развалинах дома, на опушке леса у танков, под прикрытием крыла самолета, замаскированного на фронтовом аэродроме. Всюду в передышке между боями с молодыми защитниками Родины вели работу коммунисты и комсомольцы.

Более 5 миллионов воинов вступили в ВЛКСМ в армии. Благодаря активной деятельности партийных и комсомольских работников армейские комсомольские организации росли в четыре с половиной раза быстрее, чем в довоенный период, 70 процентов первичных комсомольских организаций находилось на фронте. Вот почему из коротеньких рассказов о крупицах опыта работы комсомольцев-фронтовиков будет еще складываться книга о ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны, о приемах, методах, целой системе воспитания воина в бою. В моем фронтовом блокноте за 1943 год, когда я служил в 1857-м зенитном артиллерийском полку малого калибра, сохранились некоторые записи к политбеседам:

«Весной отмечалось 75-летие со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Во фронтовых окопах великий писатель, автор гордых слов о Человеке, предстал перед нами учителем ненависти к паразитам и предателям, ненависти к ним во имя любви к человеку — труженику, творцу, человеку — строителю культуры...»

Мы сидели в тот вечер на платформе пушки и вокруг нее: на бруствере орудийного дворика, на порожних ящиках из-под снарядов. Сержант Жилкин, воспользовавшись коротким перерывом, читал юбилейные полосы газеты. Мы узнали о статье «Пролетарская ненависть», написанной писателем незадолго до смерти как завещание советской молодежи.

Долго после этой беседы сидели мы, вспоминая первые горькие месяцы войны. Горячо обсуждали итоги весеннего наступления, личное участие в нем. Задумывались над словами писателя, повторяя только что услышанные, направленные против пассивности, бездеятельности и ложного гуманизма горьковские слова: «Безумие хищников невозможно излечить красноречием, тигры и гиены не едят пирожное». И еще: «Дело, конечно, не в том, чтобы уговорить зверя вести себя милостиво по отношению к человеку, попавшему в его лапы, а чтоб вырвать лапу из плеча вместе с головой зверя». С тех пор на батарее стало правилом проводить беседы о жизни и деятельности замечательных людей. По просьбе самих солдат лейтенант Гвагвалия рассказал о бесстрашном солдате революции Ладо Кецховели; ефрейтор Собода — о Лесе Украинке. Я листаю сейчас фронтовые записи и по ним вспоминаю, как сам проводил для солдат громкие читки газет и беседы о Немировиче-Данченко, Тимирязеве и других. Вспоминаются и те из них, что происходили у костров, неизменных спутников трудных фронтовых дорог.

Костер! Сколь желанным был он в зимнюю студеную ночь. Отогреешь у него закоченевшие «деревянные» пальцы, и сразу легче на душе станет. А засмотришься на его таинственные языки пламени — и разгонишь набежавшую вдруг тоску. Но сейчас я вспоминаю один из костров, у которого состоялась необычная беседа. Однажды к нашему костру подвели пленного ефрейтора. Это был уже не наглый пленный гитлеровец «образца 1941 года», упрямо твердивший: «Москва — капут...» После Сталинграда и Курской дуги у немцев поубавилось спеси.

Свернув «козью ножку», переводчик Вороновский предложил пленному. Он угодливо заулыбался и в знак благодарности закивал головой. Потом затянулся и сразу закашлялся. Бледное его лицо стало совсем серым. Кашлял он долго, а когда перестал, пальцами затушил самокрутку и продолжал виновато держать ее, не решаясь выбросить. Он видел, что переводчик высыпал для него из своей коробочки последний табак.

Когда немец тушил огонь, мы все обратили внимание на его руки. Это были крепкие, грубые, мозоли-

стые руки рабочего. И от этого стало как-то горько и обидно.

Вороновский что-то стал спрашивать пленного, и тот что-то взволнованно, быстро отвечал.

Выяснилось, что он действительно из рабочей семьи, сам работал садовником на ферме. В Крыму оказался ко времени второго штурма Севастополя. Фюрер поставил задачу захватить город во что бы то ни стало к 21 декабря. Командование расписало часы, в которые должны быть заняты все рубежи. В части, где служил пленный, с солдат сняли шинели — а был мороз, — накормили полуголодным пайком и бросили в атаку, сказав, что и вкусный обед, и теплое обмундирование будут ждать их в павшем городе. Вскоре солдатам, оставшимся в живых, шинели были возвращены на том же месте, где и отобрали. Многие после этого, как и наш пленный, серьезно заболели. Мы узнали, что сам он с 1935 года состоял в организации «Гитлеровская молодежь», которая воспитывала у своих членов жестокость и безжалостность...

Мы слушали пленного ефрейтора и размышляли о системе воспитания, его взрастившей, о понимании воинской доблести и чести в гитлеровской армии...

В 1943 году отмечалось 25-летие ВЛКСМ. Из газет узнали мы, что к юбилею союза молодежи Театр имени Ленинского комсомола готовит спектакль Бориса Горбатова «Юность отцов», а кинематографисты дарят фильм «Март — апрель», созданный по одноименной повести Вадима Кожевникова, широко известной фронтовикам по публикации в серии «Библиотечки красноармейца». Фронтовые поэты и музыканты сами складывали новые песни. Многие из них остались только в нашей памяти.

В победоносный, но по-прежнему суровый и жестокий год подходили мы к 25-летию ВЛКСМ. Комсомольцы действующей армии стремились ознаменовать его новыми боевыми подвигами, умножить боевые традиции своих частей.

В суровые дни отметили мы юбилей союза. Теперь уже не делегатские совещания, а общие собрания стремились провести мы. В них приняли участие и седые воины — комсомольцы 20-х годов, и юные бойцы, полу-

чившие только недавно членские билеты ВЛКСМ. Представители разных комсомольских поколений сидели рядом в одинаковых солдатских шинелях, и комсомолец сороковых годов с неослабевающим вниманием вслушивался в рассказы ветеранов союза о том, как зарождался и креп комсомол, прошел горнило гражданской войны и снискал славу на ударных стройках социализма.

Накануне праздника стал комсомольцем и младший сержант Квитковский. «Я вступил в комсомол в тот день, — писал он, — когда счет истребленных мною фашистов достиг цифры 100. В тот день мне вручили орден Красного Знамени. Я поклялся, что буду еще беспощадней уничтожать ненавистных оккупантов и боевыми делами прославлю наш героический комсомол».

В канун 25-летия ВЛКСМ более 17 миллионов юношей и девушек страны поставили свои подписи под коллективным письмом-клятвой. «Перед лицом Родины,— говорилось в нем, — перед лицом народа мы даем сегодня торжественное обещание: наши сердца не будут знать покоя, пока хоть один немец топчет нашу землю; наши руки не будут знать отдыха, пока продолжается эта великая борьба; наш мозг не будет знать усталости, пока интересы Родины требуют от нас неустанного труда. Ни одна дорога не покажется нам трудной, ни одна дорога не покажется нам непреодолимой».

Мы, фронтовые комсомольские работники и активисты, собирали подписи под письмом у целых коллективов — на коротких фронтовых собраниях и у отдельных бойцов: в окопе, на привале, у кабины грузовика со снарядами для переднего края, в полевом медсанбате... Одним словом, всюду, где бы ни был комсомолец-солдат. На иных собраниях, прежде чем дать лист бумаги для подписи кому-то из бойцов, задавали вопрос: «Все ли сделал, что мог, для победы?» Еще беспощаднее этот вопрос мысленно задавали себе сами: «Не доведется ли краснеть перед друзьями, когда сойдемся тесным кругом и поведаем о своем вкладе в разгром врага?»

На трудных дорогах войны изо дня в день заполнялся послужной список фронтовой доблести. В июле 1941 года на одном из заводов зародилось дви-

жение двухсотников — стахановцев военного времени. Приятно было сознавать, что, будучи оторванным от созидательной деятельности, ты участвуешь в ней. И это делает твой товарищ, принявший обязательство работать за друга, ушедшего на фронт.

— И за тебя, Николай, вкалываем, и за Борьку Шумилова, и за Лешку Годнева, — говорил мне Анатолий Малышев, ставший чуть ли не пятисотником в 16 лет, когда я раненый вернулся домой.

— Легче работается, когда так-то... — добавил Стаська Вознесенский.

«Действующей армией тыла» называли двухсотников, принимавших повышенные обязательства. А мы, фронтовики, давали клятву смелее бить фашистскую нечисть. Снайперы, летчики, танкисты или артиллеристы — все заводили лицевые счета в виде маленьких записных книжечек, чаще всего сшитых из нескольких листов оберточной бумаги. В них заносились сведения об уничтоженной технике и живой силе противника. Сейчас трудно, да и незачем устанавливать, где впервые возникла идея вести личный учет боевых дел. Важно другое — то, что такие лицевые счета были. Никто из командиров не контролировал подлинность записи в них. (Хотя встречал я в архивах листки за подписью командира, скрепленные печатью части...) По лицевым счетам непосредственно никого из нас не представляли к новому воинскому званию, тем более к правительственной награде. В том-то и заключалась их подлинная ценность, что были они своеобразными «духовными» книжечками бойца, в которых содержалась исповедь воина в исполнении долга перед самим *собой*. А что может быть суровее разговора с собственной совестью?

По опыту фронтовиков комсомольцы «действующей армии тыла» завели производственные лицевые счета. В один из весенних дней 1944 года почта принесла нам «Комсомольскую правду», которая до сих пор у меня перед глазами. На ее полосах была опубликована карта Советского Союза с указанием, где и сколько было создано фронтовых молодежных бригад. Передавали эту газету по всем подразделениям: солдаты ревностно искали на ней родные города, удовлетворенные успокаивались: «не подкачали землячки». Девизом лучших производственных молодежных коллективов было требование «работать по-новому: не уходить из цеха до тех

пор, пока не будет выполнено задание; работать по-фронтовому, не считаясь со временем». В деревне во время войны широкое распространение получило соревнование молодежных звеньев высокого урожая, «стопудовиков» и другие. Эти сведения мы черпали из газет, на занятиях по политической подготовке. А как дотошно расспрашивали мы бойцов, прибывших на фронт с Урала и Поволжья, Сибири и Алтая! Новичка буквально осаждали, забрасывали вопросами, если сам он из далеких родных мест...

По той же карте из «Комсомольской правды» я, помнится, сделал короткий доклад на фронтовом комсомольском собрании. Не знаю доподлинно, какого мнения остались о нем все солдаты, но самому мне до сих пор кажется, что был он одним из лучших сделанных за всю жизнь. Но сейчас важно отметить и другое. Вот так, не надуманно, а из обостренного интереса солдат к жизни фронта и тыла рождалась повестка дня комсомольских собраний, тематика политбесед (чаще всего формально не зафиксированных в протоколах и отчетах). Так утверждались и приемы работы, позволявшие оперативно реагировать на события, вызывать у бойцов новый прилив патриотических чувств. Так преодолевалось самое опасное в общении с молодежью, в идейно-воспитательной работе с фронтовиками — однообразие и шаблон.

Кадровый командир готовится воевать всю жизнь. Но во время Отечественной войны под ружье встали многие миллионы сугубо гражданских, не приспособленных к бивачной жизни людей. В отгремевшей более тридцати лет назад войне фронтовые дороги дарили им всего в избытке. Осенью — пронизывающий ветер, грязь и дождь. Зимой — снег и до того лютую стужу, что «кожа примерзала к ребрам», а руки — к винтовке...

Да... Огромная душевная сила нужна человеку на войне! Здесь часто предельно напрягались мышцы и нервы, порою до нечеловеческих возможностей. Но в огненном смерче войны несгибаемый советский солдат всегда оставался только человеком со всеми присущими ему людскими достоинствами, чувствами, слабостями. Он и уставал от войны, бытовой неустроенности. Его и съедала тоска по дому, детскому лепету, материнской

ласке, нежности любимой. Потому что каждый из воинов был и отцом, и сыном, и мужем, и женихом.

Незадолго до войны я прочитал книгу Ремарка «На западном фронте без перемен». Война разрушила прежнее мироощущение у его молодых героев, а взамен не дала им никаких. Она духовно искалечила их поколение, уничтожила человеческое в солдате. Герои Ремарка задавали себе вопрос: «Допустим, что мы останемся в живых, но будем ли мы жить?»

В тревожные фронтовые ночи, сидя в окопах или в землянке вокруг раскаленной докрасна печурки, я с другом своим лейтенантом Дмитрием Ивановым вел разговор о творчестве Ремарка, героях его книги и эпизодах войны. Иванов, интеллигентный, образованный офицер, умело сопоставлял прочитанное у Ремарка с тем, что видел на войне ежедневно. Натурализм переднего края и мирок окопного солдата у героев Ремарка чем-то претили нашему образу жизни. Они были нашими ровесниками, и мы тоже ежедневно сталкивались с ужасами войны, задумывались: не приведет ли она к крушению дорогих человеку нравственных принципов, не сформирует ли из нас представителей «потерянного», «утратившего перспективу» поколения с отравленной моралью, сломленным характером? Однако мы понимали, что ведем войну иную, чем герои Ремарка: справедливую и гуманную, что и цели ее высоки и благородны, что не может она сделать из нас людей потерянных.

— Знаешь, Николай, — говорил в минуты откровения лейтенант Иванов, — я не хочу жить как трава растет и не буду исповедовать принципы и суждения типа: «жив, и ладно», «сыт, и отлично», «поспал, и слава богу».

Я согласно кивал головой. Психология обывателя, мещанина и ханжи претила фронтовику. Самое активное участие в борьбе с фашистами рождало глубокое сознание того, что боремся мы за счастье и благополучие не только для себя — сегодня, сейчас.

— Эх, дожить бы до победы... — мечтал я.

Два офицера, по существу еще юноши, чувствовали, что в этой войне борются за счастье будущих поколений. Мы никогда не произносили таких слов, но одно из них — «завтра» — представлялось нам в большом

историческом измерении, поднимало нашу человеческую ответственность за него.

Фронтовой быт был суровым и полным лишений. Но все это только обязывало командиров и политработников постоянно заботиться о подтянутости личного состава армии, устройстве его быта. Что же касается последнего, то он во многом изменился с приходом в войска девушек-бойцов. Их приход в армию заставил нас, парней и мужчин, подтянуться. Мы больше стали обращать внимания на свою выправку, состояние формы. Притихли заядлые сквернословы. С помощью девушек на крохотных оконцах наших временных земляных жилищ появились марлевые занавески, а на подушках — накидушки. Девчата искусно продергивали в них мережку, пришивали к ним рюшки, подкрашивали свое рукоделие в слабом растворе акрихина или зеленки. Солдатская мысль работала во всех направлениях: из стреляных гильз малокалиберных снарядов мы изготовляли светильники, из алюминиевых остатков сбитых фашистских самолетов плавили «персональные» ложки с фигурными черенками. Скромно обставленный фронтовой уют доставлял нам большие радости.

Почувствовав свое боевое превосходство над противником, мы стремились доказать его и своим внешним видом. В подразделениях выявились сапожники, перетягивавшие неуклюжие «кирзачи» по ноге. Летом они тачали легкие сапоги из плотной ткани вещевых мешков и брезента. Внешний вид всей армии (и до войны блистательный) преобразился с введением в январе 1943 года новых воинских знаков различия, а затем и формы. На складах частей после этого «ходовыми» стали гимнастерки самых больших размеров. Из них нам стали шить кителя. Мы восприняли погоны не только как деталь одежды, а как знак воинского достоинства и воинской чести, которую надо поддерживать на полях сражений.

«Когда будущие историки обратятся к дням Великой Отечественной войны, они найдут самые яркие, самые теплые, самые задушевные слова для того, чтобы описать участие в этой титанической, суровой борьбе советских патриоток». Так писала «Комсомольская правда» 25 марта 1942 года. В те дни истек девятый ме-

сяц кровопролитных сражений. Мы не знали, сколько их предстоит вести еще, а поэтому даже не предполагали, что, в сущности, наступал только десятый месяц войны, а за ним стояли целых три кровопролитных года. И еще долгое время «Комсомолке» предстояло создавать летопись героизма советских женщин. Но весной 1942 года газета не ошиблась в главном — в справедливости предсказания.

Славные дела патриоток Советской страны, ярко раскрывшиеся в годы войны, действительно вдохновили писателей, поэтов, мастеров резца и кисти. Героини увековечены современниками. Взоры потомков многократно обратятся к ним и впредь.

Имена многих тысяч девушек-фронтовичек так и остались неизвестными. Чаще всего мужественные патриотки до сих пор скромно молчат о фронтовых делах. И только в дни Победы, отмечая, может быть, самый большой праздник в своей жизни, наденут они боевые медали и ордена.

Весной 1942 года Центральный Комитет партии принял постановление «О Международном коммунистическом женском дне — 8 Марта». ЦК партии призывал в нем женщин и девушек овладеть военными специальностями. Вскоре состоялось собрание актива женской молодежи Москвы. Девушки настойчиво просили дать им в руки оружие, допустить к борьбе с врагом на фронте. Решимость молодых патриоток осуществить свое заветное желание вместе с мужчинами сражаться с фашистами в бою подтвердили 10 мая 1942 года участницы митинга, созванного Антифашистским комитетом в Колонном зале Дома Союзов.

Все чаще и чаще на страницах газет появлялись очерки о боевых подвигах женщин и девушек, их мужестве и стойкости, чистой девичьей любви и верности к парню-фронтовику, о материнском сердце и неутешном горе. Я вспоминаю корреспонденцию о матери Саши Чекалина — Н. С. Чекалиной, разделившей с бойцами и командирами тяготы походной жизни. Забывая о сне и еде, перевязывала она раненых, ухаживала за ними, кормила и поила их, укрывала от холода. И вот пришла весть о смерти сына... Мужественная женщина плотно сжала губы, смахнула набежавшую слезу и, не проронив ни слова, ушла в палату. Только тонкие морщины глубже легли на лбу. В тот же скорбный день

она прочла и Указ Верховного Совета СССР о присвоении Саше звания Героя Советского Союза. Вечером Чекалина написала письмо в Кремль: «Велико мое материнское горе... Не выплакать его, не забыть. Но в дни скорби меня утешают светлые мысли, что сын мой беззаветно служил Родине...»

Я сейчас обратился к этому факту не только ради примера о мужественном сердце матери. Факт был интересен и следующим. Как-то летом 1943 года в разговоре с одной девушкой-зенитчицей я сказал, что на фронте девушкам особенно тяжело, можно ведь пользу Родине и в тылу приносить. Сказал сгоряча, в минуту, когда в который раз увидел, что не ладится у нее военная служба. Девушка сначала не поняла, о чем я спросил. А потом, спохватившись вдруг, достала мне газету с коротким очерком политрука Слащева о матери Чекалина.

— Я ведь, прочитав эту газету, в армию пошла.

Призыв девушек в армию начался с весны 1942 года. 28 марта ЦК ВЛКСМ поручил обкомам, крайкомам и ЦК ЛКСМ союзных республик в течение двух недель — до 10 апреля — совместно с военкоматами призвать в войска ПВО сто тысяч комсомолок. С этого времени они вошли в строевое расписание всех родов войск Вооруженных Сил СССР.

Вспоминаю, как в 1940 году в школе проводилась какая-то военизированная инсценировка. Нас разбили по подразделениям, ввели знаки различия. Но каково же было наше удивление и как уязвлено мальчишеское самолюбие, когда мы узнали, что главным школьным командиром стала десятиклассница Рита Соколова. Как выяснилось, это «назначение» произошло неспроста. Оказывается, Рита регулярно посещала спортивную кавалерийскую школу и преуспела там в вольтижировке. На состязаниях в тире стала чемпионом района в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. А потом я узнал, что Рита занималась в аэроклубе и готовилась стать пилотом.

Восстанавливая полузабытые подробности, я утверждаюсь во мнении, что романтика профессий летчика, спортсмена-парашютиста увлекала девушек не меньше, чем парней. И трудно сказать, кого они любили больше: всемирно известную балерину Галину Уланову или Марину Раскову, кинозвезду Любовь Орлову или Полину Осипенко.

В девятом классе мы писали сочинение на тему «Кем хочу стать после школы». Тогда мы не задумались над тем, что большинство девушек пожелали овладеть традиционно мужскими профессиями. Позднее поняли, что это было не случайное явление, а тенденция, порожденная той коренной переменой, которую произвела социалистическая революция в женском укладе, психологии. Она отражала исторические последствия эмансипации женщины в стране социализма, ее стремление не отстать от мужчин.

Память человеческая сохранила имена многих героинь прошлых времен военной страды: кавалерист-девицы Надежды Дуровой, старостихи Василисы Кожиной, беззаветно сражавшихся с иноземными пришельцами в 1812 году, Дарьи Севастопольской — участницы первой обороны морской крепости.

Мы с уважением вспоминаем храбрых героинь, которые, пробивая стену косности и невежества царской России, приобретали высшее образование, становились учеными, шли с оружием в руках защищать Родину от иноземных захватчиков. Это был нелегкий путь борьбы за равноправие. И вполне естественно, что на исходе первой четверти века свободной жизни людей страны социализма, когда выросло поколение новых женщин, героизм и отвага наших патриоток стали поистине массовым явлением. Они как бы в аккумулированном виде демонстрировали все то, что завоевано советской женщиной, что далось ей нелегко, выработало волю и готовность до конца отстаивать свою родную власть, свои великие права, свою прекрасную Родину. Суровые дороги войны позволили ей пройти богатую школу боевой и общественно-политической жизни. Советская женщина, отмечал М. И. Калинин, завоевала равноправие «на таком поприще, на котором она до сих пор так непосредственно еще не выступала». В эпопее борьбы советского народа с гитлеровскими захватчиками — на фронте и в тылу — в самой яркой форме проявились их мужество, гражданская и военная доблесть, стальная выдержка и беззаветная жертвенность. Убедительно свидетельствует об этом несколько цифр. В архиве Министерства обороны СССР сохранился документ, из которого видно, что в годы войны в ряды защитников Родины только по мобилизации ЦК ВЛКСМ вступило более 400 тысяч девушек. Половина их была комсомолками. Из каждой ты-

сячи призванных на военную службу 735 человек участвовали в Отечественной войне непосредственно в частях действующей армии. За подвиги в боях орденами и медалями СССР награждено свыше 100 тысяч патриоток, а 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Вспомним, что говорил о славных дочерях народа Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев: «Земной наш поклон советским женщинам, проявившим поразительное мужество в суровую военную годину... Образ женщины-бойца с винтовкой в руках, у штурвала самолета, образ санитарки, сестры или врача с погонами на плечах будет жить в нашей памяти как светлый пример самоотверженности и патриотизма».

Поначалу непривычно было видеть в строю солдата в юбке. Но к этому привыкли. Исправной воинской службой девчата быстро завоевали армейский авторитет, а строгостью в отношениях с бойцами и офицерами остужали пыл «донжуанов». В основном все мы, и офицеры и рядовые, понимали, как нелегко девушкам нести солдатскую службу на равных с нами условиях.

Еще недавно, перед войной, эти девушки жили спокойно и радостно, учились, работали, весело пели, беспечно танцевали, звонко хохотали, влюблялись... В армейских же карантинах, отправив родным домашнее платье, они стриглись «под фокстрот» (так называли короткую прическу), надевали грубое солдатское белье с лямками вместо пуговиц, хлопчатобумажную форму и кирзовые сапоги. С этого дня и на долгие месяцы начиналась для них суровая жизнь «по уставу», где все размерено, учтено, распределено на то, что «положено» и «не положено» делать. Но женщины есть женщины. И на войне, чтобы выглядеть красивей, они пришивали фальшивые клапаны, имитируя ими нагрудные кармашки на солдатских гимнастерках; невесть какими путями добывали фильдеперсовые чулки и, обмотав ступни поверх чулок портянками, надевали сапоги. По уставу это «не положено». За такое командиры девчат журили. После очередной нотации клапаны спарывались, а тонкие шелковые чулки прятались на дне вещмешка. Проходила неделя-другая, и неуставная форма девушки-бойца восстанавливалась.

Принимая пополнение, старшина придирчиво проверял комплектность обмундирования. На деле же беспокоился о том, чтобы в подразделение не пронесли граж-

данскую одежду: недоглядишь — присовокупят ее к форме. Пропал тогда старшина, засмеют: «Кто это у тебя на батарее появился: «осоавиахимовец»? От глаз старшины не ускользали и мелочи. Ничего «неположенного» на батарею не пронесешь...

А Женя Тишкова, красивая черноглазая сибирячка, изловчилась, пронесла. И не фильдеперсовые чулки. Выяснилось это при следующих обстоятельствах. Однажды к офицерам зашел озадаченный старшина.

— Не пойму, что с девчонками делается: по вечерам долго не ложатся спать, возятся в темноте, входить в землянку не разрешают...

— А ты их допрашивал? — поинтересовался младший лейтенант Леня Прокопенко.

— А как же: только черт у них скорее выспросит. Молчат. А Тишкова заявила: «Однако вам, товарищ старшина, нужен заместитель из базарных кумушек».

Вечером офицеры батареи поочередно побывали в тамбуре девичьей землянки. За дверью слышался шепот, тихие восторженные возгласы. А вскоре дверь скрипнула, распахнулась от сквозняка, и при слабых отблесках огня топившейся печки нам открылась «тайна» землянки. Посреди нее стояла Тишкова, босая, но в ярко-лиловом крепжоржетовом платье, плотно облегавшем ее красивый стан.

— Дай и мне примерить, Женька, — сказала санинструктор Мамонова.

— А потом мне!

— И мне... — Девушки наперебой устанавливали очередность на примерку платья. А мы на цыпочках незаметно ретировались. Было над чем призадуматься после этой сцены.

Вскоре «проблема» была решена просто и с пользой для всей батареи. Комбат, забежав как-то в землянку взвода управления (в основном девичьего), сказал мимоходом с сожалением: «Плохо, что на батарее неуставного женского платья нет. Было бы хоть одно, разрешил бы в нем девчатам солдатское белье стирать». И исчез как ни в чем не бывало.

На другой день санинструктор Мамонова доложила комбату, что у парней нижние рубахи грязные и хотя проверка по «форме» прошла нормально, стирать белье надо чаще.

Комбат хитрил:

— Ты, Мамонова, с санчастью свяжись, спроси, когда баня-поезд приедет, узнай, будет ли в нем прачечная.

Для санинструктора это было уж слишком.

— А платье? — сорвалось немедленно с ее уст.

— Что платье? — вновь прикинулся непонимающим комбат.

И тут Мамонова, рдея от волнения, бесхитростно рассказала, как после ухода старшего лейтенанта девчата решили признаться: «Платье гражданское у них есть, и они готовы по очереди стирать парням белье, если, конечно, комбат не откажется от обещания...»

Следует сказать, что все названные девчата были и отличными солдатами. Один из орудийных расчетов этой батареи был полностью (кроме подносчиков снарядов и заряжающего) укомплектован из девушек. Изо дня в день они выполняли безупречно будничную службу, изнуряющую однообразием команд: «Тревога! К орудиям! По самолету над первым, скорость сто десять! Длинными! Огонь!»; или непрерывными тренажами у пушки с хронометром: заменить пружину бойка затвора — 45 секунд; заменить ствол — полторы минуты. И в любую непогоду чтоб пушка блестела, как медная каска у пожарника. И круглосуточное наблюдение за небом. А написано о них мало. Потому что фронтовой труд артиллеристов противовоздушной обороны малозаметен. От их снарядов не каждый фашистский самолет пикировал, таща за собой огненный шлейф. «Соломой бы вас кормить...» — незлобиво ворчали на зенитчиков пехотинцы, глядя, как кустики разрывов обволакивали в воздухе цель, не поражая ее.

В бою командиры, истошно крича в трубку полевого телефона, требовали: танков, самолетов, огонька артиллерии и людей, людей, людей... А зенитчиков? О них вспоминали в первую очередь на переправах под бомбежкой. И до сих пор о них почему-то пишут застенчиво. А ведь к концу войны женщины составляли 24 процента войск противовоздушной обороны страны.

По-разному сложилась судьба девушек в серых шинелях.

Работает ныне в одном из научно-исследовательских институтов переводчицей Галина Ивановна Костерина —

бывшая моя одноклассница. Одна из тех, что не воспринималась нами, мальчишками, всерьез — «обыкновенная девчонка»: скромная, спокойная, терпимая к нашим шалостям, с добрым сердцем. Она очень многое сделала для меня летом 1942 года, когда, вернувшись домой на костылях, я первые дни часами просиживал у окна, стесняясь показаться на людях. Галя чутьем угадала мое состояние и «вытянула» из добровольного заточения. Шли и болтали. Одноклассники недавно закончили школу и готовились в институт. Галя — в политехнический. Но не знал я, как хитрила в разговоре девушка. 1 сентября 1942 года Костерина пошла на занятия не в институт, а в специальную радиошколу. Вскоре я потерял ее из виду. В конце войны кто-то из приятелей в письме на фронт написал мне о Галиной гибели при выполнении специального задания в тылу врага. Народный комиссариат государственной безопасности УССР об этом уведомил ее мать.

Но боец «невидимого фронта» Галина Костерина осталась жива. И что воинская доблесть ее была безупречной, свидетельствует орден Красной Звезды, которого она удостоена. Только много лет спустя, да и то вскользь, рассказала Галя о своем солдатском нелегком пути, начатом в глубоком тылу противника в Ровенской области в партизанском соединении Василия Андреевича Бегмы, а завершившемся в женском концлагере Равенсбрук.

Но и те девушки, что не надели солдатской шинели, сражались вместе с нами в битве с фашистами — и не только участием во всенародной борьбе: «Все — для фронта, все — для победы над врагом!»

Они помогали нам чувством: извечным, нестареющим. В бою, когда становилось очень тяжело, мы искали очищения и покоя, обращаясь к образу девушки, что дала тебе при прощании свою крохотную фотографию.

На войне мы глубже постигали радость любви, счастье мира. Особенно хорошей казалась жизнь перед боем. В эти минуты в солдатской душе пробуждалось нежное внимание к голосам и краскам природы, открывалось, что сегодня небо особенно ясное и голубое, а лес задумчив и молчалив. И даже деревня, что стоит по фронту перед тобой с покосившимися хатами и дымками над трубами, напоминает домашний уют и семейное

счастье. На войне мы как бы заново познавали мирную жизнь. Простая мысль вдруг осеняла нас: все бывшее до войны — право спокойно взирать на небо, неосторожно и когда захочется бродить по полю, балкам в лесу, сидеть в кругу родных, ходить в школу; все казавшееся обыденным, что составляло повседневную жизнь и о чем никогда не задумывались, — и было нашим большим мирным счастьем.

Перед боем чаще всего хотелось сесть за письмо любимой. У фронтовиков не было времени отшлифовывать фразы, но было в них все, что думалось в этот щемящий солдатскую душу миг. Так рождались правдивые человеческие документы, сильные своей неподдельной искренностью, простотой и непосредственностью. В них раскрывались золотые сердца парней, звучал голос советской молодежи с фронта.

Эти письма потом печатали центральные и местные газеты. За долгие годы войны только одна «Комсомольская правда» опубликовала их на 104 полосах. Мы не обижались на адресата, обнародовавшего наши сокровенные чувства из фронтовых посланий-треугольников. Письма фронтовиков составляют великую народную исповедь. В них выражена священная потребность высказаться, не замкнуться, а быть «на миру», на котором, как издревле говорили старики, «даже смерть красна».

Были в них благодарные мысли о дружбе, искренние слова о любви, безыскусные строки о верности долгу, забота о близких. И не случайно, будучи опубликованными в печати, они вызывали бесчисленные отклики читателей.

«Любимая! — писал Николай Ковалев своей девушке в Воронеж. — Если бы ты знала, какая великая сила — любовь в бою! Как ни тяжело, тебя согревает огонь ее чувства... Хочется жить, но жить свободно, чтобы самому распоряжаться своим счастьем, чтоб и труд был по призванию, и подруга по душе, чтоб молодежь училась в вузах, работала, изобретала, смеялась, влюблялась...» Это непритязательное письмо, опубликованное в «Комсомольской правде», всколыхнуло волну девичьих чувств. Редакцию газеты «затопил» поток ответных посланий. Иначе не могло и быть: война разорвала многие семьи, разлучила друзей.

3 сентября 1942 года «Комсомолка» опубликовала от-

ветные Николаю Ковалеву письма. «Мы ждем», — писала Мария Шевченко. Молодая женщина не знала Николая. Просто письмо бойца о разлуке, ожидании и тоске по любимой глубоко затронуло ее душу. Марии хотелось, чтобы ответ Ковалеву прочел и ее муж-фронтовик, «если он жив». А Надежда Дремова, жительница села Луговское, задела самую больную струну души фронтовика. «Некоторые из вас, — писала она, — после жестоких боев могут быть изуродованы. Война есть война. И на это не нужно закрывать глаза. Знаю, что некоторые страшатся такой мысли и мучительно думают, не отвернутся ли от них любимые. Не буду говорить громких фраз. Скажу только: если бы ты, мой любимый, не желая показаться мне на глаза изуродованным, скрылся, я все равно отыскала бы тебя, нашла бы, как бы ни прятался». Были в том номере «Комсомольской правды» и другие письма. Как благодарны мы были газете за них! Солдат свыкался с мыслью о смерти. Страшно было изувеченным показаться любимой. И жили мы образом девушки, разыскивающей нас по госпиталям. Образом единственной, беззаветно преданной своему чувству.

Тот номер «Комсомольской правды» пришел и во фронтовые траншеи Мысхако. Здесь на подступах к Новороссийску, на Малой земле, в «долине смерти» окопалось подразделение младшего лейтенанта Синякова. У его боевых товарищей тоже возникло желание включиться в разговор, начатый «Комсомольской правдой». «Если есть ошибки, — просил офицер, — исправьте: у нас маловато условий для творчества. Мешает шум, к тому же часто приходится откладывать карандаш в сторону и брать в руки другой карандаш — огнестрельный... Мы долго сидели молча, хотелось сберечь это чувство близости с вами. Потом заговорили и единодушно решили передать глубочайшую благодарность за то, что вы храните, как святыню, любовь к нам. Здесь, на фронте, чувства любви и преданности приобретают исключительную нежность и благородство... Мы верим, что эти качества души вы свято храните».

Неиссякаемым источником силы и нашего вдохновения на фронте стали материнские письма. Бойцы перечитывали их вслух по многу раз, передавая из рук в руки. А матери уже знали, что читают эти письма все

друзья сыновей. Поэтому и нередко начинались они словами: «Дорогие сыны мои...»

Бывало, что получали мы эти письма, когда прямой адресат уже был убит. Тогда собирались отделением, а то и взводом, чтобы составить ответ. Каждое слово взвешивали. Писали от всего сердца как родной матери. Рассказывали о погибшем сыне, просто и без обиняков — о своей суровой жизни. Спрашивали: чем помочь можем, как с дровами, помогает ли военкомат? Подписываясь, называли себя ее сыновьями.

...В Москве на Сретенском бульваре жила в годы войны Нина Дмитриевна Араловец-Ковшова — мать Героя Советского Союза Наталии Ковшовой. В жестоком и неравном бою с немцами совершила свой бессмертный подвиг ее дочь. Вместе со своей подругой Героем Советского Союза Марией Поливановой Наташа во главе снайперской группы вела огонь по наступавшему противнику. От метких выстрелов девушек — лучших снайперов части — падали замертво гитлеровские солдаты. Но враг наседал. У бойцов вышли все патроны. Истекая кровью от полученных ранений, мужественные комсомолки забрасывали фашистов гранатами, нанося им большие потери. Но вот иссякли и гранаты. Девушки притворились мертвыми. Гитлеровцы бросились к ним. Тогда Наташа Ковшова швырнула в группу немецких солдат последнюю гранату. Около десятка врагов осталось лежать неподвижно. Девушка пала смертью храбрых.

С тех пор ежедневно почта приносила матери героя теплые, задушевные послания со всех фронтов. «Дорогая мать героини Наташи, — писал ей лейтенант Сметнев, однополчанин дочери, — ...я получил ваше письмо. Благодарю вас за материнское благословение. Оно влило в меня новые силы. Хочу порадовать вас. Мой счет мести за Наташу я увеличил до 234 гитлеровцев и обучил снайперскому делу многих товарищей. Благодарю вас, моя родная, за фотографию Наташи... образ вашей дочери придает мне бодрость в самые трудные минуты боя».

Нина Дмитриевна не оставляла ни одного письма без ответа. Старая коммунистка, красногвардейка, участница первых боев за Советскую власть, раскрыва-

ла нам свое большое любящее сердце. Ее внимание и заботу чувствовали на себе названые сыны, боровшиеся на фронтах за то великое дело, за которое сражалась она сама и отдала свою жизнь дочь.

Матери всей своей жизнью воспитывали нас сердечными и отзывчивыми, выбиваясь из последних сил, стремились скорее поставить «на ноги», дарили нам свое щедрое тепло, заботу и приносили неисчислимые жертвы. А мы принимали все это как должное. Чаще всего полагали, что будет время еще ответить, подвернется более подходящий случай. Не понимали, что, кроме материнского всепрощения и всеоправдания «детского» эгоизма, существует еще и боль ожидания.

Родные вы наши! Колхозницы и работницы, учительницы и актрисы — все вы и во время войны были внешне разными, а сердцем — одинаковые. Желание помочь Родине, извечное материнское стремление быть рядом, ближе к своим сынам-воинам влекли вас работать в цехи оборонных заводов. И если уж женщина (пребывающая в извечной тревоге за детей) вручала нам ею же выкованное оружие, значит, не было в руках ничего священнее его.

Для нас и лозунг войны «Родина-мать зовет!» ассоциировался не просто с отчим краем и его государственными границами. Отчизна, Родина — это где ты родился, а рожала тебя здесь женщина, мать. Пожалуй, на войне мы впервые осознали всю глубину и адекватность своих чувств к Матери и Отчизне и всесилие их неразделимости. Защищая Родину-мать в бою, мы почти ощущали это, ибо стояли на земле-матушке, взрастившей и вскормившей нас. Сражаясь за нее, мы бились за свои семьи, за своих матерей, жен, детей. Сколько раз мы размышляли об этом в сыром окопе, землянке, просто у солдатского костра, глядя в огонь. И знаменательно то, что именно в Отечественную войну в июле 1944 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении охраны материнства, установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и «Медаль материнства».

Этот государственный акт был исполнен большого величия, мудрости и теплоты. В разгар войны он с новой силой подчеркнул огромную и благодарнейшую роль советской женщины в жизни народа, в его титанической борьбе за честь, независимость и процветание Отчизны,

поднял на вершину всенародной славы и почета многодетных матерей.

Сегодня величественный образ матери отлит в гневной фигуре с мечом, вырублен скульптором в виде скорбящей женщины у символического озера слез, обрамленного плакучими ивами на Мамаевом кургане. Он — в бронзе мемориального ансамбля-некрополя на Пискаревском кладбище в Ленинграде, в грубом бетоне скульптурной композиции на месте бывшего аппельплаца в Саласпилсе, близ Риги.

Подвиг матери памятен нам и по многим братским могилам. Мать не только оплакивала сыновей, сложивших юные головы на полях сражений, но и сама брала в руки оружие.

Могущественная и всесильная мать солдата и сама была солдатом.



НА ЗЕМЛЕ ПОЛЬСКОЙ

В 1944 году Красная Армия полностью освободила родную землю от гитлеровцев. Сотни тысяч бойцов и офицеров ушли далеко за границы Отчизны, осуществляя свою великую интернациональную миссию. Они вели бои на землях Польши, Югославии, Чехословакии... На их глазах вершились события всемирно-исторического значения. Менялось представление о Советском Союзе, его месте в мире.

В июле 1944 года мы вступили в Польшу.

Перед тем как перейти государственную границу, брали комок родной земли и завязывали его в платок. На память. Впереди лежали земли, порабощенные фашизмом. Несколько сотен километров отделяло нас от его логова — нацистской Германии.

Еще в дни боев на подступах к государственной границе политорганы призвали коммунистов и комсомольцев донести до сознания каждого воина идею о том, что нам нельзя ограничиться изгнанием врага из пределов только своей страны. Ведя бои на территориях соседних государств, Красная Армия продолжает сражение за честь и независимость Отечества, за прочный и длительный мир после войны. Всеми средствами политической агитации политорганы поддерживали в войсках дух высокой боевой активности: ведь предстояла еще долгая и жестокая борьба. Разъясняя бойцам их великую миссию освободителей Европы, не забывали напомнить, что в самой фашистской Германии и в оккупированных гитлеровцами странах томятся еще многие тысячи советских людей, ожидающих нашего прихода.

Перед вступлением в Польшу во всех подразделениях прошли собрания. Политработники рассказывали, как образованная в январе 1942 года Польская рабочая партия (ППР) выдвинула перед народом задачу активной борьбы с гитлеровцами и возглавила ее; рассказывали об истории этой страны.

Жители освобожденных городов и сел Польши радостно встречали советских воинов. Бойцы приветливо относились к детям, старикам и женщинам, на бивачных привалах делились с ними своим пайком.

Нам, никогда не бывавшим раньше за границей, в этой стране все было необычно, ново. Естественную настороженность смягчала чужая, но очень похожая на родную польская речь:

— Як то бендже по-российску...

— Нема ниц ничего, герман был, вшиско забрал...

Мы с любопытством смотрели на стоявших по обочинам дорог крестьян, приветливо махавших нам войлочными шляпами, и на белоголовых мальчишек в гольфах. В освобожденном летом 1944 года от фашистов городе Хёлм мы вдруг с удивлением услышали крик маленьких продавцов газет:

— Чекава газета, чекава газета: Жечь Посполита польска!

Эти мальчишеские голоса возвестили об издании первой, после немецкой оккупации, в Польше газеты «Речь Посполита».

От Западного Буга до Люблина по пути наступления войск — немногим более ста километров. Наши части форсировали его 21 июля, а через три дня, совершив этот многокилометровый марш, освободили и город. Важнейший железнодорожный узел и опорный пункт гитлеровцев, прикрывавший путь к Варшаве, был взят стремительным броском 2-й танковой армии, мотопехоты, десантников и кавалерии. Гвардейцы стрелковых частей генерала В. И. Чуйкова вышли к Люблину по дороге, проложенной танками генерала Орла. Около восьми часов вечера наступавшую на город дивизию настиг проливной дождь. Воздух был по-тропически теплым, а тяжеловесные тучи навалились на землю почти отвесным ливнем. Командиры передовых подразделений не знали города. Очень трудно было ориентироваться в лабиринте его многочисленных переулков и нешироких улиц, заваленных к тому же столбами. И все же десятки улиц и многие сотни зданий были очищены в ту ночь. В этом городе наш полк задержался на несколько месяцев. Люблин — центр воеводства — стал временным административным центром освобожденной территории Польши, и благодаря этому я стал свидетелем больших социальных преобразований в стране.

Никогда не забыть первых дней, проведенных в ней. Кончилась пятилетняя фашистская неволя, и над государственными зданиями вновь затрепетали красно-белые

полотнища национальных флагов, запрещенных гитлеровцами. Исполненные скорби люблинцы вместе с нами хоронили советских бойцов на улицах и в скверах, прямо на месте их гибели; обносили свежий холм каменным бордюром, украшали могилу багряными гвоздиками и огненными маками, белыми розами и нежными левкоями, втыкали в рыхлую землю холма десятки национальных флажков. На центральной магистрали города в Краковском предместье стоял наш тяжелый танк, и на его задымленной броне было написано мелом: «Здесь погиб за город Люблин механик-водитель Сантара». Жители города с утра до глубокого вечера группами стояли перед ним с обнаженными головами. На Крахмальной улице догорали бараки лагеря «цивильных пленных» — интернированных фашистами гражданских лиц. Белели под ярким июльским солнцем обезображенные стены Городского замка. Население передавало из уст в уста рассказы о зверствах, чинимых в нем гитлеровцами.

По люблинским улицам толпами и в одиночку шли русские, украинцы, белорусы, поляки, французы, югославы, бельгийцы, освобожденные от фашистской неволи. По люблинским улицам, впервые под конвоем, вели пленных гитлеровцев.

Мобилизационные армейские пункты освобожденной части Польши переполнились молодежью.

— Идэ до войска! — пояснял нам юный пан, появляясь на пороге такого пункта. Сотни парней приходили в призывные комиссии, записывались в Первую польскую армию и, прикладывая два пальца руки к воображаемой пока конфедератке, взволнованно говорили: «Нех жие дружба радзецкего и польскего народов!»

В театрах впервые после мрачного сентября 1939 года зазвучала польская речь: люблинские актеры ставили «Мораль пани Дульской». Это событие отмечалось как национальный праздник. А когда приехал на гастроли ансамбль песни и пляски 1-го Белорусского фронта, население разобрало все билеты за полдня. В переполненных кинотеатрах «Риальто», «Балтик» и «Аполло» люблинцы с восторгом слушали концерты знаменитого польского певца Дыгаса. На углах оживленных уличных перекрестков киоскеры продавали новые почтовые марки с изображением Генрика Домбровского, Тадеуша Костюшки. Жители города и деревень покупали их как дорогие сердцу сувениры.

Горожане собирались всюду, где можно переброситься информацией, оживленно обсудить новости. Вот они собрались у входа на площадку центрального парка в Краковском предместье. Здесь громкоговорители работали регулярно и чисто. Они пристроены на городских столбах и столетних липах, на бордюрах примыкающих зданий. И сколько бы раз ни приходили мы на эту площадку, всегда наблюдали на ней толпу народа. Летом 1944 года она была подлинным центром политической информации.

В последних числах июля мы оказались на ней со старшим лейтенантом Стешенко. В тот день многочисленные репродукторы передавали «Декрет Крайовой Рады Народовой о создании Польского комитета национального освобождения» и «Манифест к польскому народу».

Мы стояли в толпе горожан и слушали, как голос диктора спокойно и торжественно утверждал, что отныне восточная граница Польши должна быть линией добрососедской дружбы. Я посмотрел на Стешенко. Он подмигнул мне лукаво и почему-то потер обшлагом кителя свой орден Красной Звезды и гвардейский знак.

— Соотечественники! — вещало радио. — Комитет национального освобождения приступает к воссозданию польской государственности и торжественно провозглашает восстановление всех демократических свобод. Однако они не могут служить на пользу врагам демократии. Фашистские организации как антинациональные будут преследоваться со всей строгостью закона.

Возглас одобрения пронесся по толпе. «Жие Польска!» — крикнул кто-то, и его поддержали: «Жие! Жие!! Жие!!!» А радио, как бы вплетаясь в людское оживление и соперничая с ним, продолжало:

— Опустошенная и изголодавшаяся страна ожидает великих созидательных действий всего народа... Национальные имущества, находящиеся сейчас в руках немецкого государства и отдельных немецких капиталистов, а именно крупные промышленные, торговые, банковские, транспортные предприятия, а также леса перейдут в распоряжение Временного государственного управления...

И снова рокот толпы заглушил диктора. Но вдруг наступила тишина:

— Польский комитет национального освобождения

немедленно приступает к проведению на освобожденных территориях широкой земельной реформы...

— Боже коханий, — шептала старая пани, стоявшая рядом, — боже коханий, сколько лят мечтали об этом.

Теперь гул толпы заглушил репродукторы окончательно. С трудом пробившись сквозь людскую стену к углу ресторана «Европа», мы услышали последнюю фразу Манифеста:

— Невозможно осуществить эти задачи без национального единства. Мы выковали это единство в тяжкой подпольной борьбе... Создание Польского комитета национального освобождения является дальнейшим шагом на этом пути.

Передача закончилась, и из громкоговорителей полилась мелодия гимна «Еще Польска не сгинела». Его подхватила толпа, и мелодия, ширясь и нарастая, заполняла все Краковское предместье; отсюда она потекла по Варшавскому шоссе — за город, по Мессионерской улице — к вокзалу, по многочисленным улочкам, старым предместьям и неуютным майданам. И те, кто еще стоял в городском парке и кто уже шагал по улицам Люблина, все — от мала до велика — пели: «Не сгинела... не сгинела!»

Тот день, как показало дальнейшее развитие событий, стал днем рождения народно-демократической Польши. В соответствии с Манифестом были немедленно распущены административные органы, так называемая синяя полиция, существовавшие при оккупантах. Только сейчас, восстанавливая в памяти картины тех дней, я понимаю, как важен и решителен для судеб будущей Польши был этот шаг. Красная Армия, действуя совместно с Польской армией, изгоняла гитлеровские войска и ликвидировала гитлеровский аппарат насилия. Своим присутствием в стране мы помешали реакции создать и развернуть сколько-нибудь серьезные силы. Единение польского народа позволило Комитету национального освобождения создать на освобожденной территории страны войско в четыреста тысяч штыков, восстановить разрушенную немцами промышленность, собрать урожай, удовлетворительно решить продовольственную проблему, привести в порядок пути сообщения, связь, организовать обучение в школах, восстановить первые польские университеты. Помнится, как, сидя в гостях у пана Яблонского, учителя гим-

назии, мы внимательно слушали его рассказ о съезде учителей, обсудившем методы работы новой польской школы, об учебных планах и больших трудностях в воспитании молодежи, порожденных пятилетней немецкой оккупацией.

— Более семидесяти процентов польских учителей Люблина пострадали от немецкой оккупации, — рассказывал пан Яблонский. — Советский офицер должен знать, что в Люблине при немцах существовали не только нелегальные политические организации — профсоюзы, но и подпольные гимназии. Обнаружив такую гимназию, немцы расстреливали и учителей и учеников. И все-таки гимназии существовали. Но не об этом я хочу вам сказать, панове... Мы говорили на съезде, что учителя должны занять соответствующее место в общественной жизни, бороться с деморализацией молодежи, наследием оккупации. — Он глубоко затянулся сигаретой, отпил большими глотками принесенный нами кофе-суррогат и, помолчав, продолжил: — Надо покончить с мыслью, будто школа является аполитичной. Школа неотделима от политики. Об этом говорит и практика дооктябрьского периода. Но тогда воспитывали в духе санации (фашистская клика пилсудчиков. — *Н. Т.*) и реакции, интеллектуальное же воспитание молодежи стояло на последнем месте...

И снова в комнате наступило молчание, во время которого мне подумалось: «Вот при нашем содействии в этой стране открываются и демократизуются школы, и пан Яблонский прав: нельзя оставлять все по-прежнему. Да и сама молодежь должна быть активнее...» Не поэтому ли до сих пор звучит в ушах мягкая с пришептыванием речь польского учителя и последняя уже на пороге сказанная им фраза: «Польская санация боялась политической активности молодежи, урезывала политические и социальные права. Санация отстраняла молодежь от политики...»

Задержавшись во втором эшелоне, мы не были освобождены от боевых задач, мы столкнулись здесь с «энсозовцами» (НСЗ — Народовы Силы Збройны — фашистская гвардия с англо-американской ориентацией), «аковцами» (представителями Армии Крайовой), бандеровцами, власовцами и просто фашистскими диверсантами и провокаторами. Последние вылезали временами из потайных мест переодетыми в форму советского

солдата и, внезапно появившись в людном месте, поливали автоматными очередями гражданское население. Потом мгновенно исчезали в руинах разрушенных зданий... Когда на город ложилась ночь, вооруженные бандиты организовывали тайную «охоту» на задержавшихся советских и польских офицеров. Расправившись с ними где-нибудь в темном подъезде дома, забирали документы и форму. Потом под их прикрытием продолжали политический бандитизм — грязное дело, преследовавшее одну цель: возбудить у населения антисоветские настроения. Много сил и энергии уходило у нас на ликвидацию всевозможных «центров».

С большой радостью встретили поляки решение Польского комитета национального освобождения о проведении аграрной реформы. На территории Люблинского воеводства 750 помещичьих имений располагали 164 тысячами гектаров земли, тогда как на одну крестьянскую семью приходилось немногим более гектара. Вся эта помещичья земля была передана 53 тысячам безземельных и малоземельных крестьян, многим тысячам батраков, семьям инвалидов войны, заслуженным солдатам Войска Польского. Эти данные были впервые оглашены перед участниками крестьянского съезда.

Оживление общественно-политической жизни на освобожденной территории Польши вызвало социальную активность всех слоев населения и особенно молодежи. В 1944 году один за другим в Люблине прошли представительные собрания прогрессивных юношеских организаций: съезд Союза крестьянской молодежи, слет социалистической молодежи, товарищества рабочих университетов и другие.

Я еще много раз приду на площадь центрального сквера города и однажды в теплый августовский день стану здесь участником открытия памятника соотечественникам, павшим в боях за освобождение Люблина. Он предстанет в виде гранитного обелиска, увенчанного знаменами, с бронзовыми гербами СССР и Польши на боковых гранях. К его подножию дети, склоняясь на колени, положат полевые цветы. В те незабываемые минуты скорби оркестр исполнит «Роту», и тысячи голосов собравшихся горожан подхватят ее слова как гимн

Человеку-освободителю, принесшему польскому народу радость возрождения, надежду на будущее.

Пройдет не один десяток лет, и я вспомню многое из здесь написанного во время посещения на ВДНХ выставки «30 лет социалистической Польши».

Открывая ее, член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии и Председатель Совета Министров Польской Народной Республики П. Ярошевич скажет: «Современное динамичное развитие социалистической Польши — лучший памятник павшим героям, во имя будущего проливших свою кровь и пожертвовавших своей жизнью». Да, я помню Польшу, лишившуюся в годы гитлеровской оккупации 38 процентов национального достояния. До сих пор стоят перед глазами руины Варшавы и других городов, сожженные деревни. Разве мог бы я рассказать о национальной промышленности в те годы? Ее просто не было. Она на 70 процентов оказалась разрушенной. В Люблине процветали только предприятия Франка — гитлеровского наместника. Потом начнутся большие перемены, революционные шаги, которые разрушат старую социальную структуру и заложат общественно-экономические основы народной власти, открыв путь социалистическому строительству.

Долго буду я ходить в тот день по павильонам выставки, поражаясь, как за маленький для истории срок может преобразиться страна и ее народ. Социалистическая Польша заняла десятое место в мире по валовой промышленной продукции и за каждые восемь лет удваивала объем производства!

То, с чем столкнулись воины 1-го Белорусского фронта летом 1944 года в польском городе Люблине, превзошло все виденное до этого и слышанное о преступлениях гитлеровцев за многие месяцы войны.

С тех пор прошло много лет. Но и сейчас увиденное тогда отчетливо возникает в памяти, и мертвящий холодок пробегает по всему телу. Современной молодежи надо знать об этом. Мы обязаны ей об этом напоминать.

...Летний ливень закончился, и над обильно политой розоватого цвета землей поднимались густые клубы пара. Сквозь тяжелый утренний туман подходили наши войска к многорядному проволочному заграждению,

опоясывавшему огромную территорию слева от Хелмского шоссе. Через каждые пятьдесят метров — пулеметная вышка с прожекторами, но без часовых. Усталые и настороженные, залегли, зорко всматриваясь в даль. Стало ясно: продвижение вперед опрометчиво. С рассветом огляделись лучше. Прямо перед нами простиралась площадь, заросшая красными полевыми маками. Их было так много, что казалось, нет места другому цвету. Первый луч солнца, косо упавший на землю, еще ярче обагрил их. И в этом неведомом нам ранее обилии полевых маков, и пурпурном ковре, выстланном перед проволочным заграждением, и в таинственно обезлюдевших пулеметных вышках чудилось что-то необычное и зловещее. А поднимавшееся над землей солнце все ярче и ярче растекалось по полю.

— Как кровь людская пролилась, — прошептал кто-то рядом.

В тот день, 23 июля 1944 года, освобождая Люблин, мы вступили в Майданек. Теперь о нем знает весь мир. Но тогда на нашем солдатском пути это был первый фашистский комбинат смерти.

На территорию Майданека заходили осторожно, перебежками, скрываясь за огромными фиолетовыми кочанами идеально ухоженной капусты, росшей в передней части двора, справа от настежь распахнутых ворот. Сторожевые вышки по-прежнему пусты, пулеметы молчали, зловеще раскинув свои хоботы-стволы по сторонам. Перед нами простиралась огромная территория с темно-зелеными бараками, выстроившимися вдоль ровных дорожек, посыпанных ярко-желтым песком, рисунчато разделанным и выровненным граблями.

— Не пойму, куда попали? — вполголоса рассуждал ленинградец сержант Моргунов. — Кругом порядочек санаторный, дорожки вылизаны, как до войны в Петергофе, бассейны. И вдруг — проволочное заграждение да пулеметные вышки... Неужели они своих отдыхающих от поляков так охраняют?

О положении в Польше мы тогда имели смутное представление, хотя уже знали, что с гитлеровскими оккупантами в разных районах страны боролись вооруженные отряды Гвардии Людовой, Армии Людовой, Армии Крайовой и Батальоны хлопске. О партизанских отрядах, сформированных из поляков и советских людей, оказавшихся по разным причинам на чужбине, мы

узнали в первый день пребывания в Польше. Сейчас, глядя на брошенный лагерь, думали, что старший сержант не прав: «это не санаторий». В то же время догадывались, что пустынная территория населена, а глаза ее обитателей зорко наблюдают за пришельцами.

— Кто здесь есть живой, выходите! — И по-польски: — Кто е тутай живы, выхондиче!..

Дверь ближайшего барака распахнулась, и из него один за другим выходили люди. Нет, скорее это были их подобия: шли, ковыляя и шатаясь, торопливо и настороженно, с тревогой и вопросом в глазах, запавших в глубокие темные провалы глазниц, какие-то полосатые тени. Это были жители Майданека — фашистского лагеря смерти. Удушливый запах от сожженных в нем человеческих тел развевал по округе ветер, гнал его и по улицам Люблина. Когда становилось от него невмоготу, жители города торопились плотнее задраить окна и форточки, но страшный запах надолго заполнял город.

Праздник урожая, дарующего людям счастье жизни и благополучие, жители освобожденной части страны отмечали в 1944 году в глубокой скорби, под впечатлением, вынесенным от ферніхтунгс-лагеря — лагеря уничтожения.

В этот день центральная армейская газета вышла с передовой «Помни Майданек, воин Красной Армии». Я давно уже не воин и много августов отсчитал с того дня, но как сегодня отчетливо вижу перед глазами это поле смерти и помню рассказы людей, жизнь которых лежала за пределами человеческих представлений о страдании и преступлении. Сюда для истребления свозили людей из Франции и Бельгии, Голландии и Италии, Чехословакии и Югославии, Греции, Дании и Норвегии. 3 ноября 1943 года здесь расстреляли более 18 тысяч советских военнопленных... Во время этой расправы, чтобы заглушить стоны жертв и стрельбу автоматов, на территории ревели специально заведенные тракторы, а мощные репродукторы передавали бравурную музыку. Подобные сопровождения расстрелов стали для фашистов лагеря обыкновением. Когда началась эта какофония, обитатели 144 бараков знали — наступили часы смерти для тысяч людей; лагерь вмещал одновременно до 45 тысяч заключенных.

В Майданеке была организована фабрика смерти.

Главным в системе уничтожения людей был голод. Заключенных кормили один-два раза в день: кофе из жженой брюквы, суп из травы и кусок хлеба наполовину с древесными опилками или каштановой мукой. Обреченным на смерть делали укол «эвипана», безобидного снотворного средства, если его вводить очень медленно. От быстро же сделанных инъекций умерли многие сотни заключенных.

Лагерь начали строить в 1940 году, а три лета спустя, к приезду Гиммлера, Майданек вырос в целый комбинат. Он имел свои газовые камеры. Обычно людей приводили в баню, где их аккуратно стригли наголо, мыли, после чего говорили: «Идите дальше — там второе отделение бани». Здесь несчастных травили «циклоном», газом, содержащим сорок процентов синильной кислоты. Летом 1943 года сюда ввели детей от 3 до 12 лет. Ребята беспечно играли, брызгали друг на друга водой, смеялись, что-то лепетали на разных языках. Потом их втиснули в газовую камеру. Они не понимали, что жить им осталось две минуты...

Так умерщвлялись тысячи, а гитлеровским каннибалам надо было уничтожить миллионы, чтобы быстрее осуществить «программу обезлюдения». В восьми километрах от лагеря, в Кремпецком лесу, мы увидали, как это делалось: ряд бревен, ряд трупов, ряд бревен, ряд трупов... Так укладывалось от 500 до 1000 тел. Они обливались горючей жидкостью и поджигались. Такой костер горел двое суток. Пепел из общей кучи раскладывали по жестяным урнам и продавали «родственникам»... за 50 марок. Костную муку упаковывали в пакеты с яркими этикетками, гарантирующими, что содержимое является отличным удобрением. Те фиолетовые, огромных размеров кочаны капусты, что увидели мы при входе в Майданек, были выращены на этом «удобрении». Здесь сжигали и в кремационных печах кустарного типа, сделанных в виде больших железных котлов, и в специально построенном и усовершенствованном крематории для блицсжигания — пять печей с температурой горения до 1500 градусов по Цельсию. Для того чтобы в них вмещалось больше, трупы расчленялись — отрубались конечности. На противень одной печи втискивали по четыре трупа одновременно. На сжигание уходило 15 минут. При непрерывной работе в крематории сжигалось до 2 тысяч трупов за сутки.

Здесь разыгрывались неописуемые трагедии. Как-то к печам привели десять мужчин и одну женщину. Шеф крематория обер-шарфюрер Мусфельд приказал заключенным раздеться. Он сам расстрелял мужчин, и их трупы сожгли в печи. Женщина же категорически отказалась раздеваться. Она билась в руках у палача, бросала ему в лицо свои последние проклятья. Мусфельд лично связал пленницу по рукам и ногам проволокой и бросил в печь. Живую! Все увидели, как вспыхнули ее волосы, а затем пламя охватило и все ее тело.

Истязания и убийство людей превращены были гитлеровцами в забаву: «мнимый расстрел» — с оглушением жертвы незаметным ударом по голове доской или «мнимое утопление» в бассейне. Все эти «шутки» заканчивались тем, что над приходящим в себя заключенным стоявший эсэсовец, гогоча, орал:

— Видишь, уже на том свете, но и здесь правим мы, эсэсовцы!

Истязатели топили свои жертвы в грязной воде, вытекавшей по небольшой канаве из бани: голова жертвы погружалась в эту грязную воду и прижималась сапогом эсэсовца до тех пор, пока жертва не лишалась жизни.

Это тысячная, незначительная толика всей правды о Майданеке, о дьявольских делах фашистов, которая напоминает всему миру, что по отношению к такому врагу, как фашисты, нет и не может быть никакого снисхождения.

Много раз после того первого дня приду я еще в Майданек, каждый раз содрогаясь от увиденного. В те дни гражданское население освобожденной Польши двигалось по шоссейным и сельским дорогам к Люблину. Плотной вереницей, медленно, как в похоронной процессии, они шли мимо раскопанных рвов с трупами с затаенной надеждой увидеть останки близкого человека. Горько рыдая, стояли у распахнутых печей крематория, надеясь и одновременно пугаясь от мысли, что сейчас вот в этих обгоревших и скорченных телах узнают приметы родного лица. Скорбно склоняясь, миновали пирамиды людских черепов, машинально подсчитывая: сколько же их выстроилось на огромной территории лагеря. Рассказывали, что здесь погибло полтора миллиона... А люди все шли и шли, прикрывая рты и носы платочками, задыхаясь от удушливого трупного

запаха, расплавленного жарким августовским солнцем. Шли с неистребимой надеждой отыскать безвестно пропавших родных: «Пресвятая дева Мария, помоги!» Приглушенный стон многих тысяч людей поднимался ввысь и повисал над лагерем. Его слышно было за многие сотни метров от крематория и раскопанных рвов. У всех поляков на рукавах повязки из черного крепа. Это траур по жертвам гитлеровских палачей. Траур, который надело в те дни освобожденное от гитлеровцев население Польши. По ней уже разнеслась зловещая правда о концлагерях Люблина и Демблина, Хелма и Собиборе, Треблинке и других местах. Потом был суд над преступниками, повинными в зверских истязаниях и убийствах заключенных в Майданеке. Их возили из тюрьмы в Дом Жолнежа под усиленной охраной. Люди тесными шпалерами стояли на тротуарах, и гул возмущения волнами катился вслед палачам.

Потом была казнь. Пятерых преступников повесили в Майданеке, близ крематория. И снова толпы поляков потянулись в лагерь, чтобы послать теперь в их адрес слова проклятья. Проклятья людей, почти обезумевших от скорби и горя.



ПОСЛЕДНИЙ ЗАЛП

Никогда не забыть весны сорок пятого. Наша 19-я артиллерийская зенитная дивизия РГК (резерва Главного Командования) была придана тогда 8-й гвардейской армии генерала В. И. Чуйкова и оборудовала свой командный пункт на крутом берегу Одера, в районе небольшого городка Гёритц.

Фронтовики до сегодняшнего дня сохранили в памяти не только эпизоды самой войны. Они помнят и запахи. И не только запахи боя.

Странное существо человек. Порою я мучительно вспоминаю тот или иной месяц на фронте, и все тщетно. И вдруг где-нибудь в моем присутствии затянется приятель сигареткой, пахнет в лицо дымком, смешавшимся с хвойным потоком, и вспомнишь сразу, как несколько десятков лет назад точно так же боевой друг выпустил на тебя затяжку самокрутки.

На Одере запах реки в половодье сорок пятого года смешался с горьким привкусом фронтовой гари. От непрерывных артобстрелов и бомбежек тлела на плацдарме даже набухшая после паводка болотистая земля. В сизой дымке пожарищ огненный шар солнца висел как огромный фонарь. На плацдарме солдаты выкладывали брустверы орудийных двориков и окопов высоко над поверхностью земли. Вода была близко, копнешь — лунка заполнялась ею немедленно. По вечерам, когда на передовой наступало затишье, едва уловимые пряные запахи болотных трав струйками «форсировали» Одер, долетая до нашего КП. В эти редкие минуты душевного умиротворения начальник связи дивизии капитан Лукьяненко выносил трофейный аккордеон, и над сложной системой ходов сообщения, окопов и блиндажей переднего края лилась мелодия «Осенний сон». Объятые сложным чувством тоски о Родине и радости приближающейся Победы, мы, глубоко затягиваясь трофейной сигаретой, мечтательно вглядывались в неведомую даль запада. А аккордеон, растревожив нас воспоминаниями, заставлял тихонько подпевать:

И каждый слушал и молчал —
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,

Припомнив ту весну,
И каждый знал — дорога к ней
Ведет через войну...

Дорогие песни военных лет... Мы не пели — дышали ими. Потому-то и стали они катализатором фронтовых воспоминаний о тревожной молодости, ушедших товарищах по оружию и друзьях, которых раскидала послевоенная жизнь по всему свету. Эти песни согревают нас в трудную минуту до сих пор, вселяют надежду, утверждают веру в еще лучшее будущее.

...Мы вышли на Одер в районе Кюстрина — семьдесят километров от Берлина. По реке медленно, движимая течением, шла шуга — ледяное сало. Одер оказался со странностями: замерз в середине зимы и несколько раз вскрывался. В начале февраля 1945 года набухли прикарпатские реки. Одер стал прибывать, и мы, стоявшие на переправах, получили всего сполна. Не забыть и дней, когда фашистские стервятники выходили на бомбежку по нескольку раз, волнами в 25—30 самолетов! А ведь весной 1945 года здесь было построено 23 моста и 25 паромных переправ. Их район прикрывался многослойным огнем орудий ПВО. Танкисты, пехотинцы, артиллеристы, свернув после переправы в прибрежный лесок, облегченно вздыхали.

А зенитчики? Вместе с химиками и саперами они оставались у того понтонного моста, который еще дымился от последней бомбежки. Подсчитав расход снарядов и заново отгоризонтировав свою маневренную тридцатисемимиллиметровку, проглотив обед из ранцевого котелка, не сходя с платформы пушки, они вновь при крике «Воздух!» поливали пикирующие бомбардировщики огненными трассами снарядов.

Зенитчики на фронтовой переправе встречались с бомбардировщиками изо дня в день по нескольку раз подряд, а команда: «Воздух! В укрытие!» — подавалась не для них. С этой командой для зенитчиков на переправе начиналась работа. Майор Солдатов подсчитал, что только на мосты в районе Кюстрина немцы сбросили более 350 авиабомб и выпустили из орудий около 5 тысяч снарядов!

Хочется рассказать о прожектористках, которых пехотинцы прозвали «малярами небес». Всю войну армия

так шутила над этими служителями инструментальной разведки. Зенитчики и те снисходительно похлопывали «маляров» по погону и обещали: «Три прожектора перловой каши съешь — переведем к себе на батарею». Все шутили, и я тоже. А под конец... Вот что тогда произошло.

В середине апреля 1945 года нашу дивизию передали из 8-й гвардейской в 3-ю ударную армию 1-го Белорусского фронта. Передислоцировавшись в район города Зольдина, дивизия разместила свой КП на правом берегу Одера. Впереди — река и наш неглубокий плацдарм. Сзади — чахленький сосновый перелесок. В тот день по многочисленным признакам офицеры догадывались, что армия переживает канун большого наступления. 15 апреля в полдень в нашем соснячке неожиданно оказалось штук двадцать прожекторов с девичьими расчетами. Мы недоумевали: зачем? По ночам зенитчики не стреляли, опасаясь демаскировать себя. За Одером над передним немецким краем не взлетали даже ракеты. Теперь неприятель предпочитал потемки. В этой обстановке никчемными казались и прожекторы.

Не подавая вида, мы пристально наблюдали за прожекторным хозяйством. Вскоре девушек-прожектористок построили, и какое-то высокое начальство произнесло перед ними речь. Потом все дружно прокричали: «Ура!» Лица девчонок сияли. Мы же сгорали от любопытства.

Во второй половине дня прожекторы переправили на Кюстринский плацдарм. Провожая девчат взглядом, мы видели их счастливые лица. Это нас тоже поразило: чего радуются, там же каждый метр противником простреливается. Прожектористки же были исполнены гордости за то, что вот и они под конец войны удостоились передовой. И не где-нибудь — на самом боевом плацдарме...

— До встречи, девчата! — кричали им солдаты вслед. — В Берлине встретимся...

Только одни сутки разъединяли нашу следующую встречу с прожектористками.

Занятые своими делами, мы просто забыли о них. Весь вечер я с поручениями носился на трофейном «мерседесе» между штабами полков дивизии. На КП прибыл поздно и задремал в землянке разведчиков.

Чуть наметился рассвет, штаб дивизии собрался на

командном пункте. Командир дивизии полковник Пасько вполголоса сообщил всем, что начинается артподготовка. «На Берлин!» В руках комдива новый лист карты. Он назывался Франкфуртским. На нем обозначено много зеленых пятен — лесов, красных линий — шоссе и автострад. Много больших и малых городов. Все названия — новые, незнакомые, чужие.

Но ничто так не привлекало нашего внимания, как напечатанная в левом нижнем углу надпись «Берлин». К нему на карте сходилось одиннадцать железных и шестнадцать автомобильных дорог. По одной из них суждено было пройти и нам.

Мы застывали в торжественном ожидании. На переправах безмолвствовали. Слышно было лишь, как воды Одера плескались в прибрежных травах да внизу в кустах неожиданно мирно защелкал соловей. И откуда он только взялся. Его короткая трель в тишине пробуждающегося утра прозвучала на сожженном куске земли противоестественно. Небо из темно-синего становилось темно-сиреневым, очень чистого цвета, предвещая ясный солнечный день.

Запомнилось то утро до мелочей. Пасько напряженно смотрел на стрелки часов: довоенных «кировских», огромных и безотказных. Рядом с комдивом — начальник политотдела дивизии полковник Черенков. Сегодня он, следуя фронтовой традиции (идти в бой в орденах), надел все свои боевые награды. Ровик КП небольшой, но вместил многих. Вот начальник штаба подполковник Лоначевский. Обычно немилосердно щипавший правый кончик усов, он теперь нервно закусил его, да так и замер в ожидании. Мой фронтовой товарищ и земляк, командир батареи управления капитан Рачков припал к трофейному, цейсовскому биноклю, силясь прорезать предрассветную мглу. Начальник связи капитан Лукьяненко почему-то все время зажигал спички, поднося к папироске, которая и без того дымила как паровоз. Стоявшие здесь старшие офицеры прошли войну с дивизией от Малой земли под Новороссийском до этого правого берега Одера.

Стрелки часов комдива приблизились к «пяти ноль-ноль».

— Сейчас начнется, — сказал полковник Пасько, и его последнее слово покрыл грохот канонады.

Известно, что на участке главного удара войск было

сосредоточено до 270 орудий на один километр фронта прорыва. Впечатление от той артподготовки непередаваемо. Наша армия тогда оказалась под огнедышащим ажурным покрывалом, созданным залпами 41 тысячи пушек и минометов. Над нами с грохотом и урча рассекали быстро светлеющее небо реактивные снаряды «катюш», «подарки» дальнобойных орудий, где-то рядом стреляли пушки среднего калибра. Около 98 тысяч тонн металла обрушилось на головы врага. От дыма и гари у нас слезились глаза и спирало дыхание. Люди припадали к земле, чтоб вдохнуть воздуха почище, но и здесь он был тяжелым.

Многое видели мы за войну. Многому перестали удивляться. А сейчас под настилом собственного артиллерийского огня переживали чувство гордости за силу и мощь Красной Армии. К нему примешивалось состояние профессионального любопытства: каково там противнику? Может ли вообще человек выдержать эту лавину стали и огня? И вдруг в воздух взвились тысячи разноцветных ракет, а поднятая разрывами снарядов и покрытая черным дымом земля на стороне фашистов загорелась пламенем.

— Что это? Термитные снаряды? — спросил кто-то из штабных офицеров.

Но ему не успели ответить. В небе появилась наша штурмующая авиация.

— Все идет по плану, — сказал полковник Пасько и скомандовал: — Через двадцать минут по машинам! Штаб движется за наступающими полками. Обстановку и задачу изложу за Кюстрином! — И полковник назвал точное место сбора. — По машинам! — торопил комдив. — Надо проскочить переправу, пока она свободна, пока противник в себя не пришел...

И в аду кромешном, наверное, выживет человек, если после такой артподготовки и массированной бомбардировки с воздуха фашисты смогли огрызаться. Но наша пехота уже сражалась в чужих окопах, а артиллеристы перетаскивали на новые позиции среднекалиберные пушки и противотанковые сорокапятки. Танки, прорвав оборону, сметали тылы противника.

...Уже больше двух часов наши штабные машины медленно пробивались через заторы вслед за наступавшими частями. А в одной из встречных дорожных пробок застыла небольшая колонна прожекතористок со

своей техникой. Ясно: девчата всю ночь провели на плацдарме. На нем оставались они, когда гитлеровцы, оправившись от артподготовки, обрушили огонь своих батарей по нашим позициям, и девушки приняли на себя ответный артиллерийский огонь.

Много лет спустя маршал Г. К. Жуков рассказал в своих воспоминаниях о нашей военной хитрости: в момент артподготовки прожекторы ослепили противника своими лучами, создав видимость «нового русского оружия». В тот миг, когда мы всматривались в передовые позиции, а в воздухе появились пучки разноцветных ракет, вспыхнули 140 прожекторов, расположенных на плацдармах 1-го Белорусского фронта через каждые 200 метров, более 100 миллиардов свечей осветили поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки наших танков и пехоты. Советский полководец писал: «Картина это была огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню равного ощущения...»

Что же тогда пережили девушки на плацдарме?

В 1965 году в книге «Последний штурм» появился скупой рассказ о прожектористках 26-го прожекторного батальона войск ПВО.

Прожекторная станция стояла на открытой площадке, рядом — неглубокий окоп. В непроглядной темноте весенней ночи девушки готовили боевую технику. Команды впервые отдавали вполголоса, почти шепотом: враг был рядом. Когда началась артиллерийская подготовка, они скрылись в окопе. Закрыв руками уши, они уткнулись головами в землю. И было от чего так вести себя. На их глазах происходило нечто невиданное и невообразимо грозное. Там, на западе, в нескольких сотнях метров, вспыхнула и загорелась земля, а на востоке непрерывно сверкали молнии выстрелов и раскатисто грохотали артиллерийские залпы. Но вот раздалась привычная команда: «Приготовиться! Дай луч!» Еще мгновение, и яркий луч прожектора прорезал предрассветную мглу и ударился о стену дыма от разрывов снарядов. Сумерки как бы расступились, и в сторону врага двинулась, скрежеща металлом, изрыгая огонь, сметая все на своем пути, грозная лавина танков, самоходных артиллерийских установок. Полковник П. И. Грехнев, очевидец события на плацдарме, в упомянутой выше книге рассказывал:

«Деморализованный артиллерийской подготовкой, ослепленный ярким светом прожекторов, враг в первые минуты не оказывал сопротивления. Но вот гитлеровцы опомнились, пришли в себя, и в нашу сторону полетели снаряды и мины, пули и ручные гранаты...»

Все это обрушилось и на прожектористок, знавших до этого часа противника только по самолету, выхваченному лучом в черном куполе бездонного неба.

Позднее стало также известно, что среди прожектористок было сорок девушек из снайперской роты Нины Лобковской, овладевших за короткий срок управлением мощными прожекторными установками.

На том плацдарме за три недели до конца войны пала смертью храбрых прожектористка Маша Набережнева. Прожектор, который она обслуживала, получил несколько повреждений, но продолжал действовать. Раненая Маша мужественно управляла им до последнего вздоха, не выпуская штанги из рук. Ее боевая подруга Настя Леонова была ранена осколком снаряда. Девушке предложили уйти в медсанчасть, но Настя не оставляла боевого поста. Самоотверженно работали на соседней станции ефрейтор Банникова и многие другие девушки.

Всю войну мы несли в памяти образы жертв фашистов. За фактами нам не надо было лезть в подшивки газет, актов Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Все это мы видели и сами, изгоняя оккупантов со своей территории. В 1941 году мы передавали друг другу листовки Главпура с изображением матерей, сестер и любимых, угнанных в фашистское рабство, превращенных в неволе в рабочий скот. Читая письма, дошедшие из плена, цепенели. Вот когда до нас дошло истинное содержание слов бессмертного Гоголя: «Для человека нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить». От ненависти в груди поднимались волны гнева и свинцовым становился взгляд. Мы исступленно рвались в атаку, прочитав призывы листовок, схожие с воплем отчаяния: «Воин Красной Армии, спаси!», «Воин Красной Армии, освободи!», «Воин Красной Армии, отомсти!» Это нас призывали угнанные в неволю

соотечественники. Под тяжестью такой ответственности мы, мальчики в шинелях, сразу становились старше, глаза острее и злости больше.

Мы возненавидели врага с первыми разрывами бомб, брошенных гитлеровскими налетчиками на наш мирный дом. Фашисты своим варварством, дикими разрушениями и убийствами больно задели наше национальное достоинство, удесятеряли нашу ненависть к этой коричневой чуме. Но не чувство мести двигало нами, а великая идея Возмездия. Расскажу о ней словами бесстрашной воспитанницы комсомола Украины Любы Земсковой и замполита Бори Губанова. Предсмертные слова раненной в бою Любы напечатала «Комсомольская правда»: «Если вражеский снаряд оторвет мне руку, я буду биться одной рукой. Если я лишусь ног, я подберусь ползком к звериному стаду и буду разить его гранатой. Если мне вырвут очи, я увижу врага глазами сердца и не промахнусь». Губанов тоже отдал свою жизнь за счастье Отчизны. Он погиб на Волховском фронте, на пути к родному Ленинграду. За несколько дней до смерти Борису исполнился двадцать один год. День рождения он встретил в бою. Две записные книжки нашел у убитого юноши капитан Н. Маркевич. Вскоре он тоже погиб. Это был не дневник, а рабочие наброски-памятки; все, что нужно политработнику, беседующему с бойцами. Вот одна из них: «Сосредоточь все помыслы свои, всю силу, всю ловкость, все знания свои, всю душу свою на мести. С мыслью о ней просыпайся. С мыслью о ней шагай. С мыслью о ней трудись. С мыслью о ней живи. Каждое действие пропитывай той же мыслью. Тогда победа будет в твоих руках». Записные книжки Бориса Губанова, опубликованные газетой, долго хранились в моем фронтовом планшете. Много раз я читал их своим бойцам, потому что чувство солдатской ненависти не состояние аффекта. Оно прочно и вдохновляюще в бою, когда глубоко осознано, даже выстрадано. Чтобы ненависть к врагу не была слепой, а служила великой идее, ею надо проникнуться.

С такими мыслями мы вышли на восточные границы Германии, обозначенные до 1 сентября 1939 года. С нами это произошло через сорок три месяца и десять дней войны. С тяжелыми боями мы продолжали идти вперед. Наша армия пересекла германскую границу,

вступила в пределы Бранденбургской провинции и 31 января овладела городами Ландсберг, Мезеретц, Швибус и Цюллихау. Желанный, ни с чем не сравнимый час настал! Где-то в районе Бирнбаума я перешел ту символическую черту, что называют «границей». У пограничного столба валялся жестяной орел со свастикой, сбитый нашими бойцами. Мы вступили в Германию!

Пришли сюда и новые листовки: «Вот она, фашистская Германия!», которые мы передавали по цепи. Нередко фанерные щиты с таким лозунгом разведчики устанавливали по ночам на стороне противника, и мы, поднимаясь на рассвете в атаку, воодушевлялись ими. Мы ничего не забыли: ни страшного летнего утра 22 июня 1941 года, ни многих тысяч дотла сожженных сел, до основания разрушенных Севастополя и Сталинграда, спаленных посевов и разграбленных крестьянских изб, Бабьего Яра в Киеве и страшного Багерова рва в Керчи.

Мы еще не знали астрономической цифры в 2569 миллиардов рублей, выражавшей прямой материальный ущерб, нанесенный Отчизне гитлеровскими захватчиками. Не ведали, что означал он потерю около тридцати процентов национального богатства страны. Не знали этой суровой статистики, но понимали, что, какой бы внушительной эта статистика ни была, есть потери значительней этих. Не учесть и не найти точной меры ущербу, нанесенному гитлеровцами самому бесценному капиталу — здоровью, жизням людей.

Советским войскам предстояло преодолеть «одерский квадрат укреплений» — пять рядов проволочных заграждений, шесть линий надолбов с многочисленными траншеями и рвами. Гитлеровцы очень тщательно укрепили минными полями рубежи, прикрывавшие путь к городу, а в мощных фортификационных сооружениях, в дотах, на множестве артиллерийских и минометных батарей расположили отборные дивизии.

Итак, 16 апреля занялось в грохоте нашей артиллерийской подготовки. Воздух еще сотрясали залпы «катюш» и разрывы их реактивных снарядов, когда наши разведчики перехватили первую немецкую радиограмму. Скорее радиовопль: «По нам ведется адский огонь... Связи нет, посыльные не возвращаются... В шта-

бе разбито четыре блиндажа... Можно ли надеяться на помощь?»

В то памятное утро истерзанная и исковерканная артобстрелами и бомбежками, вздыбленная движущейся техникой и спешащими в атаку людьми земля курилась, и плотный огромный шатер из дыма и гари повис над ней. Водители зажгли фары. И от этого движение на дорогах обрело какой-то фантастический и в то же время зловещий характер. Ревели сигналы отечественных и трофейных автомашин. Лязгали гусеницы танков и тракторов. Ржали кони. Лавина из техники и людей, сметая на своем пути противника, текла неумолимо на запад.

К концу дня поднялся порывистый и яростный ветер. Он пронизывал нас, одетых в летнюю полевую форму. Дул три дня и три ночи, не в силах разогнать гигантского столба дыма, поднятого над Германией.

Семьдесят километров — час езды на легковой автомашине. Мы прошли их тоже быстро. Правда, не за час и не за сутки. Несколько дней сражались на подступах к Берлину, все ближе и ближе подходили к окружной шоссейной дороге, опоясавшей вражескую столицу. Наступали и наступали. День и ночь. Торопились быстрее завершить войну.

18 апреля во всех военных учебных заведениях противника были прекращены занятия. Все до единого юнкера были брошены на передовые позиции. А мы наступали. Не в силах сдержать нашего натиска, многие из защитников столицы Германии бросали оружие. 19 апреля в Германии была объявлена поголовная мобилизация мужского населения от 15 до 65 лет. Эсэсовцы наспех сколачивали из них батальоны. Кое-как обучив стрелять, посылали в бой. Одновременно против нас на ближних подступах к Берлину сражались резервные части из отъявленных головорезов, бившихся насмерть.

Мы с боями проходили почерневшие от дыма и разогретые артогнем смолистые леса. Миновали в перестрелках улицы бесконечных маленьких городков и сел, в броске перескакивали живые изгороди дачных вилл и разбросанных фольварков. Где-то урывками спали, что-то торопливо ели и снова устремлялись вперед. На Берлин! По передовой прошел слух, что союзники уже... вступили в него. Мы, уязвленные таким сообщением, вообще презрели смерть. Врачи и медсестры жалова-

лись на раненых, которые часто отказывались после перевязки оставаться в госпитале, рвались в боевые порядки. Кто-то бросил клич: «Пушки, вперед пехоты!» И артиллеристы вершили чудеса! Через минные поля, наступая на пятки своей пехоты, тащили орудия и минометы. Они шли, не зная усталости, пробивая вражеские заслоны, прикрывая действия штурмовых отрядов. А 20 апреля первые артиллерийские снаряды разорвались на окраине города.

День рождения Владимира Ильича Ленина наши войска отмечали новыми боевыми успехами: 21 апреля они ворвались в Берлин.

22 апреля 1945 года политработники выступили перед воинами с рассказом о жизни и деятельности вождя, о Великой Октябрьской социалистической революции, говорили о новом крупном успехе наших войск в освободительной Великой Отечественной войне. Мы вспоминали тогда, как в сентябре 1918 года красноармейцы 1-й армии Восточного фронта сообщили Ленину о взятии его родного города — Симбирска.

«...Это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!» — говорилось в телеграмме. Мы приводили тогда и текст ответной телеграммы Пензенскому губисполкому и Реввоенсовету 1-й армии, в которой Владимир Ильич поздравил красноармейцев с победой и благодарил от имени всех трудящихся «за все жертвы».

Мы вступали в Берлин через Бланкенбург. Вот несколько хроникальных сообщений.

«23 апреля Москва салютовала нам двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий».

«26 апреля газеты сообщили, что войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и соединились с войсками 1-го Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение Берлина. Это произошло накануне северо-западнее Потсдама». Мы прочитали это сообщение уже на улицах Берлина...

Наша победа была близка, но, чувствуя свою неминуемую гибель, фашисты продолжали яростно сопротивляться. Гитлеровское командование предпринимало отчаянные попытки остановить отход своей армии: за

отступление — расстреливали, за дезертирство — вешали.

Трудным был наш путь от Одера до Берлина.

В этот заключительный период Великой Отечественной войны партия постоянно уделяла большое внимание политической работе среди воинов, призывала не допускать самоуспокоенности, повышать бдительность.

Партийно-политическая работа способствовала возрастанию наступательного порыва войск, укреплению их морального духа. Как никогда возросла организующая и мобилизующая роль партийных и комсомольских организаций, роль коммунистов и комсомольцев в бою.

Так, для прорыва укрепленной долговременной обороны противника выделялись усиленные батальоны, в которых партийно-комсомольская прослойка была особенно высокой.

В последние дни войны требовалось небывалое напряжение всех сил нашей армии, и, показывая примеры мужества и героизма, в авангарде наступающих шли коммунисты. «Храбрейшими из храбрых, истинными вожаками красноармейских масс являются коммунисты — верные сыны партии Ленина, — писала в те дни газета 3-й ударной армии «Фронтовик». — Молодой кандидат в члены ВКП(б) командир артиллерийского расчета Буяков неоднократно выкатывал свое орудие на прямую наводку... Его расчет в первом же бою уничтожил свыше 20 гитлеровцев.

— Я — коммунист, и мой долг как можно больше уничтожить немецких захватчиков, — говорит Буяков.

Коммунисты-артиллеристы Мешков и Яськов за первые два дня боев истребили до 40 гитлеровцев. Их примеру следовали другие. Когда был ранен гвардеец Кошик, он продолжал сражаться до тех пор, пока не было сломлено сопротивление врага.

Коммунист старший сержант Акопьян Databaseat заменил выбывшего из строя командира взвода Махнеева. Его бойцы первыми ворвались в траншею врага и в рукопашной схватке уничтожили несколько десятков фрицев. О героизме коммуниста Акопьяна была выпущена специальная листовка.

Первыми поднялись в атаку и ворвались в немецкие траншеи коммунисты Потоэня и Морозов. В рукопашной схватке они уничтожили свыше десятка фрицев...

Посланцы партии на поле боя свято выполняют свой партийный долг — идут впереди атакующих воинов. Своим личным примером, отвагой и мужеством, высокой дисциплиной коммунисты сплачивают красноармейские массы, ведут их вперед на Берлин».

Много воинов, отличившихся в боях на земле гитлеровской Германии, вступали в партию.

Ефрейтор Мамонтов не раз под сильным огнем противника устанавливал связь. Не раз его засыпало землей с головой, но он не терял присутствия духа в самые трудные минуты. Когда мы стали подходить к фашистскому логову, он подал заявление в первичную организацию ВКП(б). В заявлении Мамонтов писал: «Мы подходим к Берлину. В этот исторический час я решил вступить в ряды великой партии Ленина, чтобы в решительных боях по окончательному разгрому немецких захватчиков сражаться коммунистом и в Берлин прийти коммунистом».

За два дня наступления Одер остался далеко позади. Ничто не может уже приостановить сокрушительного натиска наших воинов. В этих сложнейших условиях непрерывного движения советских войск вперед, в условиях высокой маневренности, партия не только не ослабляла, но, наоборот, усиливала все средства политического воздействия на воинов.

Величайшей силой в решающих боях за Берлин служило пламенное слово политработников. Они оперативно доводили до бойцов приказы командиров, сводки Совинформбюро, сообщения о военных действиях союзников, рассказывали о героях великого, долгожданного наступления на Берлин... «Слово — полководец человечьей силы» вело цепи атакующих к желанной цели. Личным примером, большевистским словом политработники укрепляли в воинах чувство советского патриотизма, гордое чувство советского человека, который шел в Германию и как победитель, и как судья.

Но для нас, воспитанных на великих принципах пролетарского гуманизма, это отнюдь не означало ответить варварством на варварство. Мы пришли, чтобы уничтожить фашистского зверя, очистить от коричневой чумы землю Центральной и Юго-Восточной Европы, освободить ее народы от ига нацизма.

Конечно, в Германии мы практически столкнулись с новыми для себя проблемами, и прежде всего взаимоотношения с гражданским населением. Разобраться в отношениях к населению вражеской страны помогало чувство интернационализма, воспитанное у нас, тон нашей печати, которая накануне советского наступления на Берлин опубликовала статью «Товарищ Эренбург упрощает».

Мы знали, что для победы еще необходимо беспощадно уничтожать все, что нам сопротивлялось, решительно лишить врага всех средств, которыми он вел войну. И делали все для этого. Но в редкое минутное затишье уличного боя среди пожарищ столицы Германии спрашивали себя: «Чем войдет в историю третий приход русского солдата в Берлин?»

Неверно было бы отождествлять клику Гитлера с германским народом.

Еще 23 февраля 1942 года Верховный Главнокомандующий отмечал: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский... остается.

Сила Красной Армии состоит... в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу...

Конечно, Красной Армии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов, поскольку они хотят поработить нашу Родину, или когда они, будучи окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу Родину».

Я привел сейчас именно эти слова не потому, что они очень ярки или саму мысль нельзя было бы выразить точнее и короче. Просто они нужны и для понимания нашей психологии. В этих словах отразился глубокий интернационализм нашей идеологии, основанной на марксистско-ленинском учении, многолетней интернациональной политике партии и государства. Этот вывод отражал всю психологию, образ мышления советского человека, воспитанного в духе интернационализма. Каждый последовательный коммунист должен был сказать только так. В то же время, вникая в социальные явления жизни, мы задумывались над вопросом: хватит ли у нас, рядовых, этой мудрости в повседневности, так как, читая приказы Сталина, задавали новый вопрос:

«Не один же Гитлер и члены национал-социалистской партии чинили все бесчинства и оккупировали территорию Родины?»

К июню 1941 года в рядах гитлеровской армии было свыше семи миллионов солдат. Если к этому приплюсовать ежегодные призывы, сверхтотальную мобилизацию, то получалось, что за разные годы второй мировой войны в среднем каждый шестой немец побывал под ружьем. И снова вопросы, вопросы, вопросы: «Обязано ли держать ответ за зверства фашистов все население Германии?..» Мы к тому времени уже хорошо понимали, что немцев оболванили. Гитлеризм создал чудовищную машину социальной демагогии, такую мощную систему манипулирования сознанием масс, которую еще не знала история. И вот сейчас нашей армии, советским солдатам и офицерам приходилось волею судьбы взять на себя это трудное начало по расчистке сознания немцев от страшного нацистского мусора... Фашисты стремились отработанный механизм воздействия на массы попробовать и в нашей стране. Они надеялись посеять рознь между советскими людьми, опереться на «пятую колонну». Но ее в СССР не оказалось. Даже бывший американский посол в Советском Союзе Дж. Э. Девис был вынужден признать на третий день войны, что «в Советском Союзе не нашлось ни судетских гейнлейнов, ни словацких тисо, ни бельгийских дегреллей, ни норвежских квислингов».

Нацистский режим просчитался не только в отношении нашей страны. В этой страшной тюрьме, которую он уготовил собственному народу, не все смирились со «счастливой» судьбой узников. В дифференциации противника в нашем представлении участвовали сами немцы.

Уже на пятый день войны печать передала рассказ Альфреда Мисхофа, рабочего из Кольверка, перебежавшего к советским пограничникам в ту роковую июньскую ночь, и сообщение о том, как четыре немецких летчика, сбросив бомбы в Днепр, приземлились на своем «юнкерсе» неподалеку от Киева. Позднее мы прочитали их письмо, которое я привожу здесь дословно: «...мы вылетали для бомбардировок Лондона, Портсмута, Плимута и других городов Англии. Еще раньше мы летали над французскими городами. Теперь нас послали на русский фронт, чтобы бомбить мирные русские

города. Мы часто задавали себе вопрос: почему воюет Гитлер против целого света? Почему он приносит всем народам Европы смерть и разорение? На этот вопрос нам никто не дал ответа». А потом мы нашли у убитого унтер-офицера Штильца обращение Центрального Комитета Германской коммунистической партии «К немецкому народу и немецкой армии». Под ним стояли подписи Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта, других членов ЦК КПГ.

Однажды в газете наше внимание привлек заголовок: «Гитлер обманул немецкую молодежь». Это было воззвание группы немецких антифашистских писателей (Людвига Ренги, Анны Зегерс и др.), эмигрировавших в Мексику. «За что вы боретесь? — спрашивали они немецких юношей в военном мундире в дни, когда армия рейха подошла к стенам нашей столицы. — За что умираете? Вы боретесь против молодого советского народа, который с беспримерными жертвами строил социализм!»

Мы читали это воззвание и верили в силу его воздействия на тех, кто подневольно сменил станок на оружие, из производителя материальных ценностей превратился в убийцу, из человека-созидателя, приносившего своим трудом людям радость, «в немца с черным ружьем», сеющего ужас и страдания. Спустя два месяца уже на Керченском полуострове до нас дошел текст «Обращения общественных и политических деятелей Германии к своему народу». Мы внимательно скользили глазами по списку подписавших его. Не терпелось узнать: кто «из них» «с нами». С радостью отмечали пространность списка и лиц, чем-либо нам известных. Удовлетворенно отметили имя Альфреда Куреллы, одного из зачинателей Коммунистического интернационала молодежи. Товарища Куреллу мы знали по брошюре «От Берлина до Москвы». В те годы мы были не только воспитанниками ВЛКСМ, а еще и кимовцами. Нам приятно было сознавать, что есть люди (да еще какие!), твердо стоящие на интернациональных позициях и не только солидарные с нами, но и активно участвующие в антифашистской борьбе.

В дни, когда в районе Курска и Белгорода разворачивались грандиозные события, оказавшие влияние на исход войны, в Москве состоялась конференция военнопленных немецких офицеров и солдат всех расположен-

ных на территории Советского Союза лагерей совместно с антифашистскими немецкими общественными и профсоюзными деятелями и депутатами рейхстага, находящимися в СССР. Люди разного имущественного положения, различных политических и религиозных воззрений после активного обсуждения на конференции текущего момента пришли к единодушному решению о создании Национального Комитета «Свободная Германия» и избрали его. Он и принял Манифест к германской армии и германскому народу.

Так жизнь подтвердила Заявление Советского правительства от 22 июня 1941 года: «Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы».

С жадностью читали мы сообщения о расширении фронта антифашистской борьбы в Европе. Нас, естественно, интересовало в первую очередь участие в ней молодежи.

На протяжении двух веков русский воин третий раз вступал на улицы Берлина. Впервые это произошло в 1760 году, второй раз — 53 года спустя.

В 1945 году улицы Берлина были перекрыты огромными баррикадами. При нашем приближении к ним фашисты загоняли в оставленный для проезда проем трамваи, груженные камнями, и замыкали баррикаду. В Берлине бои приняли трудный характер. Здесь невозможно было прочертить четкую линию переднего края. Вот типичная для тех дней ситуация: перестрелка идет впереди, в занятых нами кварталах грохочут орудия, обстреливают позиции противника. Вдруг бой возникает неожиданно и в относительно глубоком тылу. Это бойцы второго эшелона «выкурили» немцев, засевших в подвалах.

Участники штурма Берлина хорошо запомнили эти подвалы. Они тянулись на целые кварталы и представляли собой жилище спасавшегося от бомбежек гражданского населения и солдатские казармы, артиллерийские казематы и гранатные фабрики со сложной систе-

мой подземных электрических узкоколеек и транспортеров.

Не забыть нам и подземных складов с продовольствием, боев среди фантастических груд мешков с сахаром и крупой, ящиков сигарет и удушливого запаха от тлевших продуктов и вещей. На улице не было легче: здесь шел не просто бой, а грандиозное сражение за Берлин! Велись непрекращающиеся жестокие бои. К тому же мы участвовали в многоэтажном сражении.

Глубоко под землей, в бетонных погребах и бомбоубежищах, в тоннелях и подземных станциях метрополитена.

На земле.

В коридорах больших домов, на лестничных клетках, чердаках и крышах зданий.

Бои шли в воздухе. Противник бомбил наши части, овладевшие первыми кварталами города.

Всюду горячие следы войны: охваченные пламенем здания, трупы солдат, горы стреляных гильз, ветер, несший по разрушенному городу бумаги-приказы, портреты Гитлера.

На стенах — надписи: «Солдат! Шаг назад — твоя смерть!» Лозунг подкреплялся делом: отступавшим эсэсовские заслоны стреляли в спину. На зданиях торопливой рукой выведена надпись: «Berlin bleibt deutsch» — «Берлин остается немецким!» Но подобные заклинания не помогли сражавшемуся гарнизону противника. Рядом с этими письменными обетами верности фашистской Германии изо всех окон домов в занятых нами кварталах свисали белые простыни — знак покорности: «Сдаюсь на милость победителя». Белые повязки и на рукавах жителей.

Советская комендатура быстро наводила порядок в сражающемся городе. На взятых улицах, еще прилегавших к району ожесточенных боев, уже стояли девушки-регулировщицы. Здесь прохаживался, почти как где-то в Казани или Ташкенте, комендантский патруль, жестко требовавший от нас уважительного отношения к гражданскому населению: попробуй только обидеть немца. Мы смотрели на прохожих, силясь прочесть в их отрешенных лицах сокровенные мысли. Они угодливо улыбались, бросались чем-то помочь, что-то сделать и назойливо твердили: «Hitler kaput».

Во всех районах города появились военные комендатуры и немецкие бургомистры. Бои велись еще в центре Берлина, а на его окраины возвращались беженцы, тащившие за собой коляски и тачки с нехитрым скарбом. В предместье столицы Бланкенбурге, где разместился наш КП, я увидел женщину, устало толкавшую тачку. Груз был ей не под силу. Она останавливалась через несколько шагов, тяжело переводя дыхание, а лицо ее искажала гримаса физического и морального страдания. Светлые глаза были безучастно устремлены вперед. Из-под темного платка выбилась длинная прядь совершенно седых волос, точь-в-точь как выбивалась она (тоже белая как лунь) в минуты напряженной работы у моей вечно утомленной, не знавшей отдыха матери. И чем дальше смотрел я вслед удалявшейся немке, тем больше находил в ней схожего с чертами дорогого мне человека. Я стоял в оцепенении. Немцы, с которыми мы еще продолжали сражаться, немцы, которые принесли моему народу столько горя, вдруг разделились на тех, кто нес вину за развязывание этой войны, за человеконенавистничество, создание всей системы фашизма, и на тех, что сами несли страдания и беды, оказавшись под властью диктатуры. Вид женщины, измученной морально и физически, поразил меня. Простое человеческое сострадание взволновало суровую душу солдата.

Это было 1 мая 1945 года. На другой день Берлин капитулировал.

...Тлели срезанные осколками снарядов верхушки деревьев Тиргартена, с голых сучьев свисали полотнища парашютов. Это гитлеровцы сбрасывали осажденному гарнизону продовольствие и боеприпасы. Всюду развалины, воронки, сожженные танки, изрешеченные трамвайные вагоны, множество белых флагов и толпы унылых жителей...

Заканчивалась Великая Отечественная война. С нами, живыми, в Берлин «пришли» и те, кто отдал свою жизнь за честь и славу Отчизны. Мы писали их имена на колоннах рейхстага и сами расписывались за них. Мы отряхивали с гимнастерок каменную пыль и торжествующе прислушивались к тишине, испытывая такое ощущение, словно кончилось землетрясение.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Знойным летом 1941-го мы надели солдатские гимнастерки как самую почетную и священную одежду. Тогда многим из нас школа не успела вручить свой аттестат зрелости. Свой «выпускной экзамен» мы сдавали на фронте по предметам: «гражданственность», «воинский долг», «мужество и отвага», «боевое мастерство», «товарищество и взаимовыручка», «самопожертвование».

Экзамен на зрелость у нас взыскательно принимала сама Родина, а зачетной ведомостью для нас был бой. К этому экзамену советскую молодежь готовила Коммунистическая партия, Ленинский комсомол, наша социалистическая действительность.

Когда гитлеровцы напали на Советский Союз, началась величайшая битва за судьбы молодых поколений. На поле боя юные солдаты Красной Армии столкнулись с молодыми гитлеровцами, которым вместе с коричневой формой вручали кинжал с надписью: «Кровь и победа».

С песней о Весселе — гимне апашей из берлинских притонов — вторглись они в Европу, горланя «Пусть весь мир лежит в развалинах...».

Их остановили советские солдаты.

Весь мир увидел, что советская молодежь на фронте и в тылу отдавала все свои силы за светлую жизнь и счастье свободолюбивых народов. Мир потрясен был примером мужества, гражданской и политической зрелости юношей и девушек Страны Советов. 22 июня 1941 года была раскрыта новая страница биографии советского юношества. За годы войны комсомольцы нашей страны предстали во всей духовной красоте, в величии моральной силы.

Завершая боевой путь, мы все чаще и обстоятельнее задумывались над своим будущим. И солдаты и офицеры истосковались, даже измучились по дому: еще сражались на чужбине, но уже грезили о родных краях, отдавали дань дому задумчивым молчанием. Вспоминаю, с каким усердием работали топором и молотком солдаты в последние дни войны, сооружая временные

блиндажи и легкие переправы. Тогда их, валившихся с ног от усталости, не надо было уговаривать. Помнится, как один из «старичков», солдат лет тридцати пяти, тесал бревно, сладко вдыхая запах свежей сосновой щепы и щурясь под лучами апрельского солнца. Потом, присев на бревно на перекур, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Однако поотвык я тесать-то, а вертаться надо...

— О чем ты, Анохин? — спросил я, недоумевая.

— Топор, говорю, сносился. Да и я ведь от чистой плотницкой работы отвыкать начал... До Берлина-то, поди, не больше полсотни верст. Домой, чай, скоро отпустишь, командир... А?

Тут понял я, что люди подсознательно жили уже домом. Еще исполняя воинский долг, они уже мучились мирными, хозяйственными заботами. Да и мы, юные офицеры, в минуты отрешения от командирских обязанностей мечтали о возвращении домой, к гражданской жизни. Да, мечтали, ибо и на войне человек не мог жить без мечты.

Дорога домой... Сколько снилась она нам! Мы возвращались в родные места заслуженными офицерами. Вскоре в Москве состоялся парад победителей. Воины Страны Советов шли стройными шеренгами и кидали гитлеровские знамена и штандарты к подножию Мавзолея. На груди солдат, офицеров, генералов, адмиралов и маршалов сверкала новая медаль.

«Наше дело правое» — такие слова написаны на ней. Всю Великую Отечественную войну они служили нам путеводной звездой, звали в атаку, скрепляли боевые ряды непоколебимой верой в победу.

«Мы победили» — такова вторая надпись на лицевой стороне медали, выразившая то, во имя чего мы шли на лишения и жертвы, не жалея ни себя, ни крови, ни самой жизни. Шли, веря, что после дней войны придут дни счастья и радости.

* * *

Как-то в одной из газет я прочитал корреспонденцию, взволновавшую меня и вызвавшую из глубин памяти вереницу далеких и близких воспоминаний. В ней передавался диалог с молодыми итальянскими фашистами, раскрывалась их оценка личности Гитлера.

— Нам нет дела до Гитлера. Мы итальянцы...

— Ну а что вы думаете о Муссолини?

— Ха! Мы еще не родились, когда он был уже мертв. Поэтому мы не беремся судить его за то, что ныне называют «преступлениями фашизма»...

Мне и моим сверстникам, отдавшим свою юность борьбе с фашистами, увидевшим, в какие формы человеконенавистничества воплотилась их мораль, такие заявления кажутся дикими, у нас они порождают обоснованную тревогу.

Встречал и я за рубежом людей, которые принимают на лицо непроницаемую маску, закрывают глаза, затыкают уши, когда речь идет о зверствах гитлеровцев: «Зачем, дескать, напоминать это — все прощается за давностью времени, а мы не были очевидцами тех преступлений...»

Право судить преступника обретается не только современниками и очевидцами. Человек XX века с высоты прожитых столетий клеймит средневековую инквизицию. И никому в голову не приходит усомниться в его праве на критику только потому, что он, наш современник, сам не пережил средних веков.

Может быть, современной молодежи кажется, что фашизм канул в Лету — в мифологическую реку забвения?

Мы, представители старшего поколения, понимаем, что время стирает в памяти зверства фашистов в годы второй мировой войны. Но то же время приучило людей сохранять и осмысливать опыт. Как-то, в дни одного из юбилеев знаменитой битвы на Волге, по парижскому телевидению транслировали передачу с площади Сталинграда. Репортер останавливал парижан и спрашивал: «Чьим именем названа эта площадь?» Они удивленно смотрели на вопрошавшего и отвечали один нелепее другого. И только подошедший участник движения Сопротивления сказал: «Сталинград — это большой русский город. Здесь Сталин сломал Гитлеру хребет. Отсюда началось освобождение Европы от фашистов». Любопытные прохожие образовали толпу, и пожилые люди один за другим дополняли рассказ ветерана. «Оказывается, помнят...»

Неправда, что времени все подвластно. Пока живы мы, советские люди, пока существует наша земля, наш народ и мир не забудут великого подвига Страны Сове-

тов. Не забудут и о нацизме, ввергнувшем человечество в кровавую бойню. Рассказывая о борьбе с фашистами, трудно пройти мимо самой темы, тем более что вижу, как волнует она представителей прогрессивной части молодого поколения всех стран мира. Это я осознал на встречах с молодежью далекого города Бадулла, затерявшегося в горных отрогах острова Шри Ланка. Молодежь впервые беседовала с советскими людьми и знала о них только как о победителях нацистов. О фашистах вспоминали мы и в разговорах с юными патриотами Бенешова, стойко стоявшими на верных позициях во время событий 1968 года в Чехословакии. Тема борьбы с фашистами стала основной на встрече со студентами университета Санта Мария в Вальпараисо. Состоялась она, когда в Чили у власти стояло правительство Народного единства Сальвадора Альенде, против которого местная фашистская организация «Патриа и либертад» организовывала одну провокацию за другой. Шел июнь 1972 года. Небольшая советская делегация сидела в аудитории университета и отвечала на многочисленные вопросы чилийских студентов. Узнав, что среди нас есть участник второй мировой войны, они попросили прокомментировать свое отношение к фашизму.

Я вспомнил тогда осень сурового 1941 года. Фашисты рвались к Москве, а в далекой столице Чили состоялась многотысячная демонстрация солидарности с СССР. Антифашисты Сантьяго вышли на нее под лозунгами: «Долой врагов демократии!», «Отправим пароход с медью в Советский Союз!», «Внесем дневной заработок в фонд помощи СССР!» Сейчас же меня слушали юные чилийцы, не бывшие очевидцами событий 1941 года, возможно, дети тех демонстрантов, которые протянули нам руку помощи и солидарности.

Фашизм вырвал наших немецких сверстников из отчего дома. В 1937 году Гитлер заявил: «Мы заберем у них (родителей. — *Н. Т.*) детей... с десяти лет и к восемнадцати годам привьем им наши взгляды. Они тогда не избегут нас, они вступят в нашу партию». Согласно этой программе дети до 14 лет включались в организацию «Юнг-фольк», а юноши и девушки 14—18 лет — в фашистскую «Гитлерюгенд». По достижении 18 лет молодые люди вовлекались либо в нацистские организации СА и СС, либо в фашизированные организации «трудового фронта». Во всех этих звеньях духовного растле-

ния нации готовили молодежь к агрессивным войнам, к великому преступлению. Профессиональные невежды прививали юным инстинкты жестокости и человеконенавистничества. Однажды в беседе с Раушнингом Гитлер хвастливо заявил, что хочет «вырастить грубую, властную, неустрашимую, жестокую молодежь», у которой «глаза должны сверкать как у свободного великолепного хищного зверя».

Последствия воспитания в таком духе сказывались на подрастающем поколении Германии незамедлительно. Они быстро проявились в росте преступности среди молодежи. В 1933 году, когда нацисты пришли к власти, в стране осуждено было 612 молодых людей. К 1938 году отряд юных преступников в стране «арийской расы» вырос в пять раз! В 1940 году среди 335 тысяч правонарушителей фашистской страны каждый двадцатый преступник был несовершеннолетним.

Гитлер благодарил судьбу, лишившую его «шор научного образования». Свою собственную невежественность фюрер возводил в закон, согласно которому только презирающие науку могут претендовать на роль властелинов мира. «Критика» науки и света в царстве тьмы и насилия становилась краеугольным принципом программы фашистского воспитания юношества. «Молодежь, — вещал ее имперский руководитель Бальдур фон Ширах, — не питает никакого уважения к науке. Она уважает только бравого парня».

Этого «бравого парня», страдающего, по выражению фюрера, «от переобразованности», мы ежедневно встречали на фронте, а свидетельства его моральной «доблести» — на освобожденных от оккупантов территориях. Когда он был новобрачным, гитлеровцы вручали ему и невесте книгу фюрера «Майн Кампф», снискавшую мрачную славу манифеста преступников и головорезов. А потом, когда погнали солдатом в Россию, в приказе «О поведении войск на Востоке» ему внушали: не вдаваться в «политические рассуждения о будущем», вести борьбу на «полное уничтожение... советского государства и его вооруженной силы».

И снова система фашистского воспитания молодежи давала всходы.

...Кем ты был до войны, обер-ефрейтор Иоганнес Гердер, сложивший свою голову в августе 1941 года на нашей земле? Дремали ль в твоей душе, чужестранец-

пришелец, хоть слабые человеческие чувства, когда ты записал в фронтовом дневнике: «Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома... Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами...»

Жена фашистского солдата Эмиля Зоруфа не получила его последнего письма. Вот отрывок из него: «Сегодня мы грузили русских в поезд, отправлявшийся в Германию. Им ничего не разрешили взять с собой. Провожавшие много плакали. Мы разгоняли их прикладами и выстрелами. Было довольно весело...»

Я привел не самые выразительные письма из тех, что пачками приносили наши солдаты командирам, партийным и комсомольским работникам для оперативных сводок и политбесед.

Задумывались ли Иоганнес Гердер, Зоруф и другие фашисты о том, что такими записями они сами вынесли себе приговор как существам в людском обличье, но с сердцем «хищного зверя»?

Прошло несколько лет, и мир услышал из зала Нюрнбергского процесса, как нацисты брали сотнями подходящих гитлеровских юнцов, воспитанных Бальдуром фон Ширахом, и обучали их стрельбе по цели. В качестве мишеней молодчикам давали... советских детей. На специальных курсах «бравых парней» обучали разрубанию трупов, их сжиганию, размолу, ровной засыпке могил, посадке на них деревьев и кустов, посадке такой искусной и аккуратной, чтобы пейзаж ничем не выдавал многослойного погребения людей.

Много зверств фашистов увидели мы на войне, читали потрясающие по своей силе и драматизму документы Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Они обличали врагов в действиях, для оценки которых нет слов на человеческом языке.

Все прощается за давностью времени?

Зачем вспоминать?

Чтобы это больше не повторилось.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 937

Николай Владимирович Трущенко

ЭХО СУРОВОГО ЭКЗАМЕНА

Редактор **М. Фырнин**
Художник **А. Блох**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Н. Михайловская**
Корректоры **Н. Павлова, З. Харитонова, Л. Матасова**

Сдано в набор 29/VII 1976 г. Подписано к печати 15/II 1977 г. А06333. Формат 84×108[1]/32. Бумага № 2. Печ. л. 4,5 (усл. 7,56) + + 8 вкл. Уч.-изд. л. 8,3. Тираж 65 000 экз. Цена 62 коп. Б. З. 1976 г. № 61. п. 13. Заказ 1308.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

62 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ